

**Абдулла Каххар**

**РАССКАЗЫ**

**ПРОЗРЕНИЕ СЛЕПЫХ**

*Не вы ли Умар-мулла?  
Не вас ли ждет кабанья стрела?*  
Песня

Ахмад-палван ожидал казни.

Низенький, коренастый палач, один вид которого предвещал смерть, подошел и рванул Ахмада-палвана за плечи. Обессиленный трехдневными мучениями, Ахмад не удержался на ногах и повалился навзничь, на связанные за спиною руки. Боли он не чувствовал: руки, трое суток туго стянутые веревками, одеревенели. Поднявшись, палван пошевелил ими и убедился, что нет ни вывиха, ни перелома. Это его утешило, несмотря на то, что ему надо было подставлять голову под нож палача.

Посреди двора, на супа, среди цветника, на пуховых подушках возлежал безобразный, одноглазый курбаши - главарь банды басмачей. Один из его людей растирал ему ноги.

Возле курбаши сидели приближенные - улем, лекарь. А позади примостился бай - хозяин дома.

Курбаши опять заревел на Ахмада-палвана.

- Эй, несчастный, только раз живут на свете... Укажи своих сообщников.

Улем закивал в знак согласия. Трусливые собачонки обычно лают из-за хозяйской спины, так и бай что-то выкрикивал из-за спины курбаши, поминутно поглядывая на своего покровителя.

Лекарь, считавший себя визирем курбаши, не спеша, внушительно увещевал Ахмада.

Вина Ахмада - велика. Он лишил курбаши его правой руки: убил эфенди Исхака.

Эфенди Исхак и сам бы умер от потери крови, но палван добил его. Зарубил самым обычным топором, каким рубят дрова.

В бою под Алкарком эфенди Исхака ранило пулей. Курбаши

подхватил его и унес на своем коне. Ночью банда проезжала кишлак, где жил Ахмад-палван, и эфенди Исхак умолил курбаши оставить его здесь и спрятать в доме какого-нибудь бедняка, который не вызовет подозрений красноармейцев, преследующих басмачей.

Таким бедняком оказался Ахмад-палван. Он взял к себе эфенди Исхака, но не успели басмачи покинуть кишлак, как тут же зарубил его топором.

- Мой бек,- медленно ронял Ахмад слова.- Я зарубил вашего эфенди за то, что вы сейчас хотите убить меня. Больше мне нечего добавить! Но очень хочется перед смертью совершить доброе дело. Не ради вас, а ради всевышнего. У меня два глаза. Если я лишусь их, вы ... прозреете. Я думаю, более богоугодного дела быть не может.

Курбаши воспринял это как издевательство. Брызгая слюной, изрыгая ругательства, он обрушился на пленника. Но как ни велика была ярость курбаши, подвергнуть Ахмада большому наказанию, чем смерть, он не мог.

- Не гневайтесь, мой бек,- Ахмад прервал поток ругани и, обращаясь к лекарю, продолжал: - Вы поймете меня. Я хочу исцелить курбаши.

Лекарь растерянно взглянул на бранившегося курбаши и что-то сказал ему. Бек замолчал. Присутствующие внимательно смотрели на новоявленного лекаря, Ахмада-палвана.

- Хаким, пусть бек соизволит закрыть здоровый глаз, а вы надавите пальцем на его веко,- попросил Ахмад.

Курбаши расхохотался. Потом повернулся к лекарю, закрыл здоровый глаз и велел ему приложить палец. Тот исполнил приказание.

- Что вы видите? - спросил Ахмад.

- Ничего,- ответил курбаши.

- Сильней надавите, хаким. Мой бек, не закрывайте глаз плотно, глядите вниз. Теперь видите огненный шарик?

- Вижу.

Лекарь тут же закрыл свой глаз и надавил на веко. Это же проделали улем и все остальные приближенные, сидевшие на возвышении.

Раздались голоса:

- И я вижу...

- Я тоже...

- Правильно, вы видите огонек потому, что у вас оба глаза здоровые...

Лекарь заволновался. Его интересовало не столько излечение курбаши, сколько тайна врачевания слепых. Если бы курбаши отказался от лечения, лекарь готов был сам ослепнуть, лишь бы заставить Ахмада показать свое искусство. Он что-то сказал курбаши. Все притихли. Курбаши велел начинать лечение.

Ахмад потребовал яйцо, два финика, ползолотника тмина, пять незабудок и ложку меда. Хозяин был богатым человеком и быстро принес требуемое. Лекарь осмотрел снадобья и задумался. Улем волком смотрел на палвана. Ахмад велел сложить принесенное в медную посуду, налить туда одну пиалу воды и вскипятить. Ему повиновались.

- А теперь установите свечу на заборе,- приказал Ахмад,- против курбаши.

И это тоже было исполнено.

- Ты уже помог кому-нибудь прозреть? - спросил лекарь.

- Нет,- ответил Ахмад, с разрешения курбаши опускаясь на корточки.- Одно слепого исцелил мой учитель, но после этого сам ослеп и умер через одиннадцать дней. Имя учителя я назову после. Ему было восемьдесят три года.

Один из басмачей помешивал ложкой варево. Ахмад-палван издали наблюдал за тем, как готовилось зелье. Потом велел загасить огонь и найти камень, которого не касалась вода. Его приказания исполнялись быстрее, чем повеления самого курбаши.

Кто-то принес в поле халата целую грудку камней. Ахмад осмотрел каждый из них и заявил, что они непригодны. То же самое он сказал и о второй грудке. Принесли новые. Ахмад выбрал камень весом в семь-восемь фунтов, велел тщательно обтереть и обтесать с одной стороны. Когда камень стал похож на железный сошник, Ахмад велел обмазать его снадобьем.

Мазал лекарь, а Ахмад указывал ему, как это делать. Но лекарю никак не удавалось точно выполнить его указания. У курбаши лопнуло терпение, и он велел развязать пленнику руки. На Ахмада-палвана тотчас же со всех сторон уставились дула винтовок, а над головой навис блестящий клинок палача. Ахмад обмазал камень и положил его возле себя для сушки.

- А теперь мне нужно полпиалы человеческой крови...- Помолчав, Ахмад поднял голову.- Думаю, что тот, кто согласился отдать зрение, немного потеряет, если у него возьмут еще и полпиалы крови. Мой бек, прикажите отрубить мой палец...

Улем, не выдержав, встал и ушел. Лекарь взглянул на бека. Хозяин дома, склонившись к курбаши, толкал его в бок. Палач приготовил клинок. Ахмад-палван положил мизинец на пенек и закрыл глаза. Палач со свистом опустил клинок, по земле покатился обрубок мизинца. На лбу Ахмеда выступили капельки пота. Когда из раны натекло полпиалы крови, лекарь быстро присыпал ее порошком и остановил кровь. Спустя некоторое время Ахмад-палван медленно открыл глаза и влил кровь в варево. Затем велел зажечь перед беком пук соломы и свечу на заборе. Пламя свечи заколыхалось от ветра. Повалил, закружился густой сизый дым от соломы. Когда Ахмад встал, на него опять навели ружья, а над головой навис клинок палача.

- Мой бек,- сказал палван, с разрешения курбаши приближаясь к супа,- я отдал палец, а теперь собираюсь отдать и зрение. Но у меня к вам просьба.

- Ты хочешь, чтоб я сохранил тебе жизнь?

- Нет, мой бек. Зачем бедняку жизнь, когда он ослепнет? Напротив, я прошу, чтобы вы не раздумали и не оставили меня в живых. Я боюсь, когда вы прозреете, а я лишусь зрения, вы не станете меня убивать.

- Убью!

- Я боюсь вашего милосердия, бек.

- Можешь не бояться.

- И все-таки я сомневаюсь. Я дрожу при мысли, что мое доброе дело перекроет мой дурной поступок. И тогда...

- Ладно. Что ты хочешь?

- Хочу, чтоб вы не раздумали меня убить, как только исцелитесь. Я хочу разозлить вас. Чтоб вы разгневались так, что дай я помимо зрения еще сто лет жизни вам, вы все равно бы убили меня. Хочу разгневать вас словами.

Лекарь с нетерпением ждал момента исцеления, поэтому понукал курбаши принять любое условие палвана. Курбаши согласился.

- Словами? - криво усмехнулся бек.- Хорошо, говори.

Ахмад-палван медленно повернулся спиной к курбаши и обратился к басмачам, стоявшим с поднятыми винтовками.

- Джигиты,- начал он,- не удивляйтесь, что я отдаю врагу свое зрение и палец. Оглянитесь лучше на себя, вы отдаете врагу своих отцов и детей, братьев и сестер, разоряете свои кишлаки. Вы стреляете в самих себя. Если, вы считаете мой поступок безумием, тогда мы все сумасшедшие. Разница лишь в том, что я знаю, для чего это делаю, а вы

нет. Я открою вам глаза, даже если соскоблят мое мясо с костей, а кости перемелют железными жерновами... Я сейчас умру, но перед смертью хочу узнать, ради кого вы скитаетесь с оружием в руках? Сравниваете с землей кишлаки? Ради кого обрекаете на мучения своих братьев? Ради кого вы стали басмачами? Неужели не скучаете по своим плугам?..

Хозяин дома, прятаясь за спиной курбаши, нетерпеливо заерзал. Улем вытянул перед собою руки и что-то сказал курбаши. Тот хотел прервать палвана, но Ахмад продолжал, и каждое его слово было нацелено в сердца джигитов.

- Баи боятся лишиться богатства... А чего боитесь вы?

Палач саблей плашмя ударил Ахмада и заставил его замолчать. А курбаши, поднявшись стегнул Ахмада два раза плеткой и обрушил на него злобные ругательства.

- Мой бек, вы ведь сами разрешили...- склонился перед ним Ахмад.

- Не надо мне лекарств, увести его! - рявкнул курбаши.

Но лекарь настойчиво зашептал беку на ухо.

- Приступай к делу! - крикнул тот, недобро глядя на Ахмада. Палван попросил курбаши наклониться над густым дымом, а лекарю подал обмазанный снадобьем камень.

- Держите камень острием к глазу бека и, когда я скажу, начинайте его покачивать.

Курбаши наклонился над дымом.

- О повелитель правоверных, как бы он не повредил вашему глазу, забеспокоился хозяин дома.

- Какой вред, можно причинить незрячему глазу? - возразил палван.- Если опасаетесь за здоровый глаз, завяжите его.

То же самое посоветовал лекарь, курбаши снял тубетейку и завязал глаз шелковым платком.

Лекарь держал камень острием к слепому глазу курбаши, но никак не мог понять, как надо покачивать.

- Не так! - раздраженно говорил палван.

Курбаши чуть не задохнулся от дыма и, закашлявшись, крикнул:

- Хаким, передайте камень ему!

Вначале все напряженно следили за Ахмадом, ожидая, когда же он начнет слепнуть, но вскоре их внимание приковалось к свече, горевшей на заборе. Она как будто не участвовала в лечении, однако палван то и дело поглядывал на нее, боясь, чтоб не погасла.

- Вы, хаким, следите за свечой, если погаснет, скажите мне...

Сам он наклонился к курбаши и в густом чаду принялся раскачивать камень перед глазом курбаши. От его резких движений солома еще больше разгоралась, и дым повалил всюду. Сквозь густой дым едва виднелись головы курбаши и Ахмада-палвана.

От ветерка язычок пламени заколыхался, и люди напряженно смотрели, ожидая от нее чуда.

Ахмад-палван вдруг громко крикнул: "Свеча!" - и вонзил острие камня в висок курбаши. Десятник, сидевший справа от курбаши, тремя выстрелами из револьвера уложил Ахмада-палвана. Но в ту же минуту ударом приклада десятнику раскроили череп. Поднялась стрельба, продолжавшаяся до вечера. Потом вспыхнул большой пожар, над домом бая встали огромные столбы сизо-багрового дыма.

1934

## МАСТОН

Лошадь вдруг споткнулась, повалилась на бок и испустила дух. Что случилось, отчего пала лошадь — раздумывать над этим нет надобности; причины смерти выясняют для того, чтобы сохранить жизнь, а здесь, в бескрайней пустыне, спасти уже некого — других лошадей нет.

Молодая женщина, лицо которой не утратило свежести от тягот долгой дороги, попыталась было вытащить ногу из-под крупы павшей лошади, но вдруг вскрикнула, заметив ящерицу, что выскочила из-под ее паранджи, отлетевшей на несколько шагов. Второй седок, девушка без паранджи, при падении с лошади скатилась кубарем, но тотчас вскочила на ноги и поспешила на помощь спутнице. Га, опершись одной ногой о круп, потянула вторую ногу, вытащила ее, но лакированный ичиг остался под лошадью.

— А, пропади все пропадом! — сквозь слезы проговорила женщина.— Чтобы тебе пусто было с этой учебой, Мастон! Лучше бы я не расставалась с мужем!

Не обращая внимания на ее слова, Мастон приподняла морду лошади и заглянула в ее едва прикрытые глаза; их уже заволокло мутновато-серой пеленой. Мастон выпрямилась и посмотрела вдаль.

Степь, необозримая степь! Все вокруг колыхалось в знойном мареве. Жаркий ветер трепал подол ее платья, выпущенного из-под синего жакета, шевелил пряди волос, налипших на загорелую шею и виски. Мастон, словно только сейчас вспомнив о своей спутнице, резко обернулась к ней.

— Что ты сказала, Тургуной? — спросила она и присела перед женщиной на корточки.— Разве муж не доводил тебя до слез, и сколько раз? Разве он не издевался над тобой?.. А лошадь пала...

Тургуной вздрогнула, позабыв о боли в руке.

— Пала?!

— Да.

Мастон вытащила из-под лошади сумку и проверила провизию: еды хватит лишь на день, да и то если ехать верхом. Воды и вовсе нет, глиняный кувшинчик с водой разбился при падении.

Уложив на голове две короткие, но толстые косы, девушка оглядела

свои крепкие яловые сапоги, словно собиралась идти вброд через реку. Продукты из сумки она переложила в скатерть, обвязала ее поясом вокруг талии.

Мастон знала, сколько примерно километров они проехали и сколько еще им предстоит пройти. Оазисов поблизости не было. Идти вперед не опаснее, чем повернуть обратно. Позади — кочующие пески и заросли иргая. А заблудишься в песках или в зарослях, и будешь там бродить до конца своих дней... Ну, а если еще ветер поднимется, заживо погребут тебя пески.

Мастон решила все забыть — и гибель лошади, и разбитый кувшин с водой, и то, что еды в обрез. Она взяла себя в руки. Надо идти, дорога дальняя. Обхватив плечи Тургуной, которая плакала, закрыв лицо ладонями, она заставила ее подняться.

— Не плачь, Тургуной, не плачь. От слез голова разболится... Обуй ичиги, кавуши. Уложи косы на голове и повяжи платком. До темноты надо выбраться из степи, а то, видишь, здесь ящерицы, их тут много. Ну, скорей!

Тургуной рыдала.

Солнце стояло в зените. Короткие тени двух женщин неровно скользили по камням и травам степи. Жег знойный ветер. Юркие ящерицы, увидев людей, стрелой исчезали в норах, в щелях под камнями; те, что похрабрее, отскочив в сторону, задирали головы и с любопытством глядели на путниц выпуклыми глазками, словно вопрошая: «Кто вы такие?» Мастон пыталась как-нибудь отвлечь Тургуной, — только бы она не замечала ящериц.

— Спой что-нибудь, Тургуной!

Мастон тряхнула плечом, поправляя ношу.

— Лошадь околела... А сколько там вещей осталось... а сами... в степи, и неизвестно, что с нами будет. Как ты можешь спокойно идти?..

— Что осталось, того не вернешь. Сколько не горюй, вещи не побегут за нами. А что с нами будет — это от нас самих зависит.

Солнце склонялось на запад, когда путницы выбрались из степи и стали подниматься на холм. Но взойти на холм куда трудней, чем идти степью. Мастон, словно лошадь с тяжелым возом, шагала, упираясь ногами в землю; Тургуной же еле шла, пригнувшись и упираясь ладонями на колени.

— Ой, Мастон, как хорошо было дома... И пусть бы муж измывался надо мной,— простила Тургуной.



Мастон, шедшая впереди, остановилась на вершине холма, она сняла с пояса скатерть, вынула лепешку, разломилась ее, половину лепешки сунула обратно, а другую половину разделила на двоих и протянула кусок Тургнуной. Та подняла руку — потому только, что это был хлеб, ничто другое сейчас не заставило бы ее сделать это. Тургнуной, не прожевав, в два приема проглотила лепешку и умоляюще взглянула на Мастон.

— Довольно. А то не хватит лепешек. Да и пить захочется... воды нет. Пока не доберемся вон до склона, воды не найдем. Без воды только верблюд протянет...

— К этой лепешке, видно, ящерица прикоснулась. А говорят, от этого еда вкуснее бывает. Может, так оно и случилось?

Мастон рассмеялась.

— А тебе приходилось есть пищу, которой коснулась ящерица?

— Нет, слышала только. Мою двоюродную сестру выдавали за торговца тюбетейками Абдуразака. Ему лет пятьдесят, а она молодая девушка... Было это лет десять назад... В ту пору только по воле родителей замуж выходили... Сестра и так и сяк, лишь бы избавиться от мужа... Вот и решила: заражусь-ка проказой... глядишь, он и прогонит меня. Слышала она, что, если съесть ящерицу, на лице белые пятна выступают, как у прокаженных. Так и сделала, сварила ящерицу...

Мастон прервала ее рассказ и посмотрела на склон холма, а Тургнуной захныкала. Но девушка, потянув ее за руку, велела встать.

— Рука у тебя, Мастон, как у парня — такая крепкая, — пройдя немного, сказала Тургнуной. — Вот выйдешь замуж, будут у тебя неприятности из-за рук.

— А я, выходя замуж, не стану скрывать свои руки, — возразила девушка. — К тому же я не выйду за такого, которому не понравятся мои руки. Кто сказал тебе, что хорошая жизнь мужа и жены зависит от мягких или жестких рук... У тебя-то руки мягкие, как шелк, а вот...

— Если бы у меня отец был жив, ни одного дня бы не стала жить с этим оборотнем. Умер отец — и смелости нет. Ну, уйду от мужа, а куда? Пусть хотя бы слепым на оба глаза, хромым на обе ноги, а родись мужчиной... А уйду от мужа, некуда мне податься... В первую ночь свахи мне нашептывали: мол, не давайся, пока не пообещает золотого ожерелья. Наутро я пожалела, сижу, плакать хочется, жалко себя стало, а муж подходит: «Ха-ха-ха, обманул я тебя, не куплю золотого ожерелья!» А, пропади ты пропадом, думаю... Эх, Мастон, суждено нам

маяться. Рожать — вот наша судьба, от стариков ли, от молодых, от любимых или нелюбимых — все едино. А ты еще девушка, у тебя надежда на счастье. Я тоже в девушках надеялась... А не встретишь хорошего парня — и счастья не найдешь. И будешь век вековать, охать да ахать. Станешь ждать, что завтра будет лучше, чем сегодня, и не заметишь, как старость придет...

Слезы подступили ей к горлу, она умолкла. Она шла, пошатываясь, как пьяная. Мاستон подхватила ее под руку.

— Мы рождены, чтобы видеть светлую жизнь, Тургуной, как и мужчины,— сказала Мастон.— Мы не курицы, чтобы покорно высидивать яйца, какие ни подсунут. Человек ведь не курица, и любовь его не куриная... Почему мы должны иметь детей от старика или нелюбимого? Если ребенок не от любимого, пусть уж вовсе не рождается. Ты говоришь, что я девушка и потому надеюсь на счастье? Нет! Если бы я ждала счастья только потому, что я девушка, это было бы несчастьем. Получается, что я свою жизнь ставлю на карту: проиграла — пропала жизнь!.. Нет, Тургуной, по-моему, искать счастье у мужа — это уже начало несчастья. У нас женщины так привязываются к мужу, так ищут в нем свое счастье, что, когда умирает муж, им кажется, будто ключ от их счастья он унес с собой... Вот и плачут не оттого, что муж умер, а оттого, что потеряли надежду на счастье. Если муж при жизни отвернется от жены, она будет плакать не меньше, чем по покойнику. Многие женщины живут рабынями своих мужей, только бы не терять ключа от счастья, только бы не проливать слез. Вчера одна старуха так и сказала: «Сердце мужчины — камень, его смягчают только женские слезы».

Стемнело. Вдали над горами, темной громадой закрывшими полнеба, падали звезды, оставляя за собой огненные хвосты.

У Тургуной развалились кавуши, и в гору ей пришлось взбираться в одних ичигах. Хотя тропинка вилась вверх полого, женщина еле передвигала ноги, при каждом шаге с усилием упираясь руками в колени. Мастон взяла из рук Тургуной маленький узелок и пошла позади, потому что подруга ее каждую минуту могла упасть и скатиться вниз по склону. Но вот Тургуной совсем выбилась из сил, не смогла больше сделать ни шагу. Припав головой к плечу Мастон, она заплакала.

— Ноги не держат... умру я здесь, в степи...— произнесла она. Колени ее подкосились, и она мешком повалилась наземь. Упал не

просто обессиленный человек, упал человек, примирившийся со смертью.

— Тургнуной, если мы останемся здесь, волки нас разорвут,— сказала Мاستон.

Жители долины называли гору Волчьей. Слышала об этом и Тургнуной, но она не знала, что они находятся как раз на Волчьей горе. С трудом поднялась и побрела дальше. Мاستон поддерживала ее. Они направилась к гребню горы напрямик, не сворачивая на извилистые боковые тропинки.

Когда они одолели половину склона, с гребня послышалось протяжное: «Ку-ук!..» Тотчас позади спутниц раздалось в ответ: «Ку-ук!» И звук повторился еще раз где-то вдалеке. То кричали ночные «соловьи» Волчьей горы — филины. При первом вскрике Тургнуной вздрогнула, а когда раздались ответные, ее охватил ужас. Она кинулась бежать.

— Ах, проклятый филин! — задыхаясь, проговорила она.

А Мاستон шла, прислушиваясь к другим звукам, несшимся издали,— вою волков.

— Слышишь,— прошептала девушка,— волки... Кричат филины или не кричат, а если не доберемся вон до той вершины, погибнем. И потом — это вовсе не филин, а кукушка, не пугайся. Волков надо бояться, а не птиц.

Извилистая трона осталась позади, внизу. В темноте она смутно белела. Мاستон остановилась и, выпрямившись, поглядела вперед. До вершины оставалось несколько метров. Но Тургнуной повалилась на землю и тотчас забылась тяжелым сном.

Мастон сидела возле нее, не сомкнув глаз до рассвета; лишь когда заалел горизонт, она вздремнула, но тут же проснулась от кашля Тургнуной.

— Вставай, что так долго спишь? — легонько тронула Тургнуной ее за плечо.— Вставай!

Мастон снова смежила веки, но Тургнуной опять закашлялась. Когда Мاستон проснулась, Тургнуной, припав головой к ее плечу, всхлипывала.

Мастон стала успокаивать подругу, поглаживала ее по голове.

— Не плачь, Тургнуной, не плачь! Вон он, видишь? — Она показала на долину, что серела в тумане.— Мы теперь почти дома. Это наш колхоз, наш кишлак...

— Ой, ноги... Все тело болит...

— Ноги... Понимаю... Это с непривычки... Вот пойдем, и станет легче... Я спущусь вниз, погляжу, где вода, и мы позавтракаем.

Мастон стала спускаться по склону, но, дойдя до тропинки, услышала крики Тургуной и вернулась. Тургуной показывала в сторону степи и кричала что есть мочи. Мастон взглянула. В степи, возле горизонта, пауком ползла арба. Мастон вскрикнула от радости и захлопала в ладоши. Путницы стали спускаться. Тургуной, задыхаясь от кашля, останавливалась на каждом шагу. Они сели в тени уступа на камень и стали ждать арбу. Тургуной мучил кашель, но лицо ее просветлело, и она с аппетитом жевала лепешку. Вдруг она забеспокоилась: хорошо, если в арбе, кроме возницы, никого нет, а если там мужчины...

— Если там мужчины, я пропала...

— При слове «мужчина» тебе одно только на ум и приходит,— рассердилась Мастон.

— А то как же,— отозвалась Тургуной, вытирая нос подолом платья,— А что еще ожидать от них...

Мастон обычно соглашалась с Тургуной, верила ей во многом, а если думала иначе, не возражала. Но сейчас она никак не могла согласиться с подругой. Тургуной пыталась доказать Мастон, что мужчина и женщина при первом знакомстве могут говорить лишь об одном... Они долго спорили, так что арба оказалась уже совсем близко от них. Мастон вышла навстречу арбе. Возница, обернувшись к двум парням, сидевшим на арбе, показал кнутовищем на девушку.

Парни, вытянув шеи, поглядели на Мастон. Дорога стала неровной, арба накренилась. Все трое прыгнули.

— Это ваша лошадь пала там? — спросил один из парней, махнув рукой в степь.

Мастон кивнула. Арба остановилась, и девушка пожала руку вознице и парням, в двух словах рассказала им о несчастье. Парни переглянулись.

— Мы выехали ночью, на рассвете проезжали там...— сказал один из них.— Лошадь изгрызли волки... А в сторонке валялась паранджа. Мы не знали, что и думать. Вам повезло... Вот молодцы!..

Тургуной, присевшая в сторонке на камень, тоскливо думала: «Вот кончат сейчас об этом, а что дальше... будут говорить?»

На арбе, поверх снопов клевера, лежала сбруя павшей лошади.

— А мы то о чем только не думали... Вот молодчины,— удивился

возница.— Ну, садитесь, садитесь на арбу, сестрицы! Каждая небось сорока мужчинами смогла бы командовать!

Тургуной села на задке арбы, на клевере, прикрыв рот, исподлобья поглядывая на попутчиков. Мاستон уступили место впереди. Повозка тронулась. Одолев подъем, арба, поскрипывая, поползла под гору. Когда спустились на ровное место, один из парней расстелил скатерть, разложил еду, другой вытащил из-под клевера две бутылки с холодным чаем и разлил по пиалам. Тургуной, как заяц, испуганно вздрагивала при каждом слове и движении мужчин и не дотрагивалась до еды, пока Мастон что-нибудь не протягивала ей.

Арба свернула на дорогу, которая шла между двух гор, и страшная Волчья гора пропала из виду. Потекла беседа, говорили о том о сем.

Собеседники Мастон все больше проникались уважением к ней. Сперва они называли ее попросту: сингил — «сестрица», а погода уже почтительно: ана — «старшая сестра». А когда Мастон сказала, что она в прошлом году получила на трудодни триста двадцать девять рублей и сто пятьдесят шесть пудов пшеницы, один парень даже покраснел. Возница насмешливо вставил: «А наш Юлчибай тоже не сплоховал: он один заработал восемьдесят пудов пшеницы и сто девяносто рублей деньгами»,— так что парня пот прошиб, и он стал оправдываться:

— Да нет... это наш... наш такбирчи...<sup>1</sup>

— Не такбирчи, а табельщик,— поправила его Мастон.

— Да, да, табельщик. Табельщик у нас негодный... Я всего заработал... хотя и были прогулы... а этот бездельник чуждый элемент...— пробормотал парень.

Арба ползла, поскрипывая, разговор шел, перескакивая с одного на другое. Тургуной не вступала в беседу, она сидела, покачиваясь, и скоро уснула, убедившись, что молодые люди не замышляют ничего предосудительного.

1934

---

<sup>1</sup> Игра слов: такбирчи — воздающий хвалу богу.

## ГОРОДСКОЙ САД

*О погибшая, опустошенная Родина...  
О погибшая Родина, каждый уголок которой в темницу превращен.  
«Рамузат»*

Кадакчи Хамракул занемог. Может быть, причиной тому был вчерашний поминальный плов или в жевательный табак дехканина, которому он чинил сегодня чайник, было что-нибудь подмешано... Хотя нет, ведь еще утром ему было как-то не по себе: неспроста же показалось, что чай отдает кукурузой.

Старого Хамракула знобило, даже поднять руку не было сил. Блюдец, в котором не хватало всего лишь одной скрепки, так и осталось непочиненным. Кое-как прибрав инструменты, Хамракул вышел на улицу. Голова была тяжелая, ноги не слушались — он весь горел. Хамракул никак не мог собраться с мыслями; как ни пытался сосредоточиться, перед глазами всякий раз вставало видение: пьет он горячий-негорячий чай, потом, закутавшись в одеяло, взлетает под потолок. Зовет имама своего квартала, чтобы тот прочел молитву, но вместо имама в комнату, покачиваясь, всплывают носилки, на которых несут покойника на кладбище.

Испуганный видением, Хамракул пошел быстрее, только бы поскорей попасть домой. Вдруг кто-то окликнул его с противоположной стороны улицы. Хамракул хотел обернуться, но пошатнулся и едва устоял на ногах.

Человек, окликнувший Хамракула, был старый Уста-куллол — сторож Романовского сада. Собственно, фамилия его была Стукалов, но Хамракул не мог выговорить эту трудную русскую фамилию и звал друга на свой манер: Уста-куллол.

Хамракул познакомился с ним прошлой весной, когда старик принес ему починить цветочную вазу — память о погибшем сыне. Раньше они жили в Сибири. Сын работал на Ленских приисках и был расстрелян со многими другими рабочими. Почему это произошло, Хамракулу так и не удалось узнать,— едва Уста-куллол, бывало, заговорит об этом, как затрясется весь, начнет ругаться на чем свет

стоит, и толку от него не добьешься.

Увидев, что приятель еле-еле стоит на ногах, Уста-кулол отвел его к себе в сад. Усадил старика на голубую скамью с чугунными ножками и принес воды. Выпив воды, Хамракул как будто немножко пришел в себя, но ему почему-то невыносимо было слышать воробьев, чирикающих на ветвях карагача. Он заткнул уши пальцами и закрыл глаза. Посидев немного, он приоткрыл глаза в предчувствии, что увидит что-то страшное...

Он увидел своего друга. Уста-кулол кричал и ругался, как кричал, когда рассказывал о смерти сына. Увидел он также, как юный офицерик, похожий на девушку, подпрыгнул и ударил Уста-кулола в грудь. Старик упал. Еще не пришедшего в себя Хамракула тоже ударили. Он упал со скамейки, поднялся. Второй удар пришелся ему по шее.

Пронзительный свисток...

— Городовой!!!

Откуда-то появилась жена Уста-кулола и упала офицеру в ноги.

Потом двое городских повели Хамракула и Уста-кулола из парка в околоток, находившийся напротив церкви. Собралась толпа. Старуха Уста-кулола шла за ними и голосила. Уста-кулол обернулся к жене.

— Не плачь, старая! Чего убиваешься. Всего и делов-то: из одной тюрьмы в другую переводят...

Двери околотка затворились.

Призывая православных к вечерне, тяжело и протяжно гудели церковные колокола. Волны этого звона плыли над домами. Город был погружен в дремоту, хотя солнце еще не село.

Через неделю в газете «Туркестанский край» появилось следующее сообщение: «23 сентября в Романовском саду, находящемся в русской части города, имел место следующий безобразный случай. Один из сартов, нарушив установленный порядок, осмелился войти в парк, являющийся местом отдыха господ чиновников, и учинил беспорядок...»

1935

## ВОРЫ

(Из прошлого)

*Смерть коня — радость для собаки.*  
Пословица

Старуха, поднявшись чуть свет замесить тесто, решила первым делом заглянуть в хлев и проведать вола. Хлев был пуст. В стене, выходящей на улицу, зиял пролом.

Для дехканина пусть уж лучше дом сгорит, только бы не потерять вола. Одна-две копны соломы, десяток-полтора жердей, арба камыша — дом готов, а чтобы купить вола — сколько долгих лет надо жить впроголодь!

В кишлаке привыкли к женским воплям: одну бьет муж, у другой дом идет с молотка. Все же на крики старухи народ сбежался довольно быстро.

Старик Кабылбобо — босой, полуодетый, с обнаженной головой — стоял у входа в хлев и вздрагивал всем телом. Колени его подгибались, широко раскрытые глаза перебегали с предмета на предмет, но ничего не видели.

Женщины громко проклинали вора, заливались лаем собаки, кудахтали куры. Кто-то старался доказать окружающим, что через такую узкую дыру в стене вола не протащишь.

Подошел сосед Кабылбобо — безносый элликбаши. Войдя в хлев, он внимательно оглядел пролом и столб, к которому привязывали вола, зачем-то покачал его, все осмотрел и, наконец, сказал гнусавым голосом:

— Никуда ваш вол не денется, найдется!

Тщательное обследование, которое произвел в хлеву элликбаши, и особенно его слова вселили в Кабылбобо надежду.

Старик заплакал.

— Да пошлет вам аллах здоровье... Вол-то был пегий...

Горячо споря о том, как, когда и каким орудием вор проломил стену, в какую сторону увел вола и на каком базаре нужно его теперь искать, люди стали расходиться. Шум утих. Жена Кабылбобо перестала



плакать, и в глазах ее, устремленных на эликбаши, затеплилась надежда...

Эликбаши еще раз пошел осмотреть пролом. Сложив руки на груди, Кабылбобо, плача, последовал за ним.

— Да не плачь же ты! Говорю тебе, не плачь! — гнусавил эликбаши.— Если твой вол не ушел за пределы земель белого царя, он непременно найдется.

Эликбаши говорил так уверенно, словно стоит только выйти на улицу — и вол тут же отыщется. «Этому человеку — помоги ему аллах! — ведь надо что-нибудь дать за такие труды. Даром ведь и кошка на солнце не выходит. А разве мало денег потратил он на то, чтобы стать эликбаши? Одному только мингбаши он принес в дар семьсот снопов клевера и годовалого жеребенка. И к тому же он ведь не получает от казны жалованья!» Кабылбобо потряс своим кошельком и вручил эликбаши все, что там было. Приняв подношение, тот обещал немедленно доложить о случившемся амину.

Вечером Кабылбобо собрался к амину. Сухая ложка, говорят, рот дерет. Сколько же денег нести амину? Для того, кто дает, и одного много, а для того, кто берет, и десяти мало. Посоветовавшись со старухой, Кабылбобо решил: этот расход последний, притом такой расход, от которого зависит возвращение дорогой пропажи. Разве можно тут скупиться?

Когда Кабылбобо предстал перед амином, тот зычно рыгнул, а затем загоготал так, что затрясся жирный подбородок.

- Что, корова пропала?
- Нет... не корова... вол... пегий вол...
- Вол?! Да ну?! Гм... пегий вол... так-так...
- Вол у меня единственный...

Амин воткнул в ноздрю полмизинца и снова затрясся от смеха.

- А был у тебя этот вол? Какой, говоришь?
- Пегий...
- И хороший, говоришь, вол?
- Хороший... очень хороший...
- А разве хороший пойдет, если его чужие поведут?
- Вол у меня единственный... Пегий...
- Постой, а сам он не вернется? Впрочем, ведь никто не приказывал ему возвращаться, если его уведут... А плакать-то зачем? А?! Нельзя плакать!

Кабылбобо замер, уставившись в землю.

— Объявить розыск, что ли,— сказал амин, очищая мизинец о подошву сапога,— а кто потом отблагодарит меня за это? Что я получу, если найду пропажу?

Эти слова амина Кабылбобо воспринял так, словно тот уже нашел его вола.

— Не обессудьте,— сказал он, протягивая деньги.— Я перед вами в большом долгу...

— Ну что ж!.. Раз так, я тотчас доложу приставу. Он сам займется этим делом.

Прошла неделя. Старуха уже несколько раз ходила погадать к ворожке, «силой молитвы открывающей замки», снесла ей полмешка джиды, три больших чашки кукурузы и два мотка ниток.

На восьмой день Кабылбобо снова пошел к амину. У того даже волосы стали дыбом от гнева.

— Тебе что же, вола на дом доставить, что ли? Надлежит самому ходить и заявлять о себе: бедняк, приходящий с просьбой к начальству, показывает тем самым, что уважает его.

Кабылбобо посоветовался с друзьями: что же нести приставу, кроме денег? Ведь известно — пока дойдешь до него самого, спина от поклонов переломится.

Три курицы, одна из них наседка,— все скромное хозяйство Кабылбобо. Сотню яиц собрали соседи. Однако с этим подношением дальше толмача пройти не удалось. Толмач взял все, что принес старик, и обещал тотчас же «растолковать» дело приставу.

Кабылбобо стал терять надежду. Уж не напрасны ли все его хлопоты? Кто не знает, каковы эти чиновники...

Хорошо «уразумевший» дело пристав взял себе двух лучших кур и три рубля, но, к счастью, не сказал, что «доложит обо всем хакиму», а велел опять обратиться к амину. Амин был краток: «Ступай к эликбаши»!

Увидев Кабылбобо, эликбаши вспылил:

— Скажи сам, кого подозреваешь! Я ведь не святой, откуда мне знать, кто украл твоего вола. Да и вола-то небось давным-давно уже прирезали. Чем плакаться тут, сходил бы лучше к кожевникам и поглядел на шкуры. Впрочем... если шкура вола попала к кожевникам, она уже давно стала кожей. А из этой самой кожи сделали кавуши и теперь продают их на базаре...

— О господи, горе-то какое! Бедная моя головушка,— прошептал несчастный старик.

— Да что ты в самом деле, ребенок малый, что ли? Взрослый человек, а плачешь. Есть о чем убиваться! Если бы этот вол был единственный во всем свете — дело другое. Бог даст, пропажа твоя возместится... Так уж и быть, скажу своему тестю — он одолжит тебе одного из своих волов. Разве вол — это плата за кровь человека?!

На следующий день элликбаши, позвав Кабылбобо, отправился с ним к своему тестю — торговцу хлопком Эгамберды. Купец почувствовал старику и на время пахоты дал ему не одного, а даже двух волов, но... с одним «маленьким» условием. О том, что это за условие, Кабылбобо узнает осенью...

1936

## БОЛЬНАЯ

*Небо высоко, земля жестка.*

Пословица

У Сатывалды заболела жена. Пригласили муллу прочесть над ней молитву — не помогло. Позвали знахаря; он пустил кровь. У больной потемнело в глазах и закружилась голова... Заговаривал болезнь заклинатель. Приходила какая-то женщина, стегала больную ветками тальника, смазывала кровью только что зарезанной курицы...

Все это, конечно, стоило денег. Ведь так оно всегда: где толсто — там тянется, где тонко — рвется.

В городе есть лечебница. Что знает о ней Сатывалды? В прохладном тихом парке прячется за деревьями высокое и красивое белое здание. На светло-серых дверях со стеклянными ручками — кнопка для звонка. Когда его хозяина, Абдугани-бая, торговавшего хлопковой шелухой и жмыхом, чуть не до смерти придавило в амбаре мешками, он почему-то поехал не в эту лечебницу, а в Сим. При слове "лечебница" перед глазами Сатывалды возникал извозчик и четвертной с портретом белого царя...

Больной день ото дня становилось хуже. Сам толком не зная зачем, Сатывалды пошел к хозяину и рассказал ему о своем несчастье. Абдугани-бай выслушал его и очень огорчился. Казалось, будь это в его власти, он немедля поставил бы женщину на ноги.

— А ты что-нибудь пожертвовал блаженному Бахаутдину? А блаженному Гавсулазаму? — участливо спросил он батрака.

От больной уже нельзя было отходить, и, чтобы хоть как-нибудь свести концы с концами, Сатывалды обучался плести корзины.

И вот с утра до вечера сидит он на солнцепеке, окруженный ворохами прутьев, и плетет корзины. Его четырехлетняя дочка, присев подле больной матери, платком сгоняет с ее лица вялых, назойливых мух. Иногда девочка засыпает, положив голову на руки, крепко сжимающие платок. Вокруг тишина... Только жужжат мухи, стонет больная, да откуда-то издалека доносится дребезжащий голос нищего: "Подайте милостыню ради аллаха... Подаяние отвращает несчастья..."

Пророк божий да исцелит немощных и больных..."

Как-то ночью больная почувствовала себя особенно плохо. Каждый ее стон, точно петля, стягивал горло Сатывалды. Он позвал старуху соседку. Та пришла, поправила у больной растрепавшиеся волосы, легонько погладила ее, а потом села и... всхлипнула.

— Молитва, которую прочитает на рассвете безгрешное дитя, дойдет до бога, — сказала она. — Надо разбудить вашу девочку!

Девочка спросонок было расплакалась, но, испугавшись хмуро глядевшего отца и стонов матери, торопливо зашептала за старухой:

— Боже милостивый, исцеление дарующий... Прошло несколько дней. Состояние больной стало совсем безнадежным. Чтобы в сердце умирающей не осталось неисполненных желаний, надо было совершить над ней "чилёсин". У лавочника, скупающего корзины, Сатывалды занял на расходы двадцать таньга. После чилёсина больной как будто полегчало. В эту ночь она даже открыла глаза, подозвала девочку и прошептала:

— Бог услышал молитву моей доченьки. Мне теперь лучше, отец, не будите девочку на рассвете.

Она снова закрыла глаза и уже больше их не открывала. На рассвете она умерла.

Когда Сатывалды взял на руки девочку, чтобы уложить ее подальше от покойной, девочка проснулась и, не раскрывая глаз, привычно залепетала:

— Боже милостивый, исцеление дарующий...

1936

## ГРАНАТ

*Вокруг обилье плодов, а ты голодаешь, дитя!  
Арыки полны воды, а ты умираешь от жажды, дитя!  
Из прошлого*

Турабджан, открывая калитку, так волновался, что зацепил рукавом яхтака за железную щеколду и разорвал рукав до самого локтя.

Жена сидела на террасе и толкла в ступе джугару. Увидев в руках мужа сверток, она бросила деревянный пестик на мешок и порывисто поднялась ему навстречу. Тяжелый пестик опрокинул мешок, джугара рассыпалась.

Турабджан спрятал сверток за спину и сказал:

— Попроси хорошенько, тогда отдам! Что ты дашь мне за это?

— Все, что хочешь, полжизни отдам!..

Турабджан передал сверток жене. Присев на ступеньке терраски, она стала вскрывать его, торопливыми пальцами разворачивая бумагу, и вдруг замерла: большие черные глаза неподвижно уставились на содержимое свертка. Потом она медленно подняла голову и посмотрела на мужа, Турабджан улыбнулся, увидев слезы в ее глазах.

— Да ты знаешь, что это такое?— весело заговорил он.— Соты! Чистый мед! Сожмешь зубами вот так— сам потечет в рот. А это — воск. Он совсем не поганый, его можно сосать, можно и жевать.

Жена, закусив зубами конец рукава, сидела молча, глядя куда-то мимо свертка, в одну точку.

— Аллах, она не верит!— воскликнул Турабджан, наклонясь к свертку.— На вот, попробуй! Попробуй сначала, а потом скажешь...

Но жена с отвращением отвернулась, а Турабджан даже покраснел от досады. Точно в таком же положении очутился он, когда однажды, купив дыню, отправился навестить больного друга: эту дыню он увидел потом в коровьей кормушке.

Бродивший по двору хромой кот медленно вошел на терраску, подошел к зернам джугары, понюхал их и, подняв желтые глаза на Турабджана, жалобно мяукнул: «Мя-а-у!»

— Встань, собери зерно!— сказал Турабджан жене.— Видишь, кот

обнюхивает!

Та, поднимаясь, всхлипнула и зарыдала во весь голос.

— Провалиться бы ему сквозь землю... что это за несчастье! Почему меня не тянет на соль, на мед, как всех?

Турабджан снял с головы тюбетейку и хотел стряхнуть с нее пыль, но увидел разорванный рукав и нахмурился; яхтак был почти новый, всего несколько раз стиранный.

— Если уж ты беременна, знай хоть меру,— сказал он и снова надел тюбетейку, так и забыв стряхнуть с нее пыль.— Гранат, гранат... А ты знаешь, сколько стоит фунт гранатов? С самой зари таскаешь воду, колешь дрова, мечешься по всему дому, а на руки в месяц попадает всего тридцать пять таньга. У меня братьев-благодетелей нет...

Оба умолкли. Жена натолкла в ступе джугару на кашу и, пересыпая ее в таз, проворчала:

— Будто я прошу гранат из упрямства...

— Знаю!— вскипел Турабджан.— А что мне делать? Прикажешь убить хозяина и ограбить его или заложить себя ростовщику?

Жена занялась стряпней. Ее сильно обидели слова мужа: «Если уж ты беременна, знай хоть меру». Она разводила огонь в очаге, а на глаза наворачивались слезы. Через час обед был готов. Гуджу, почерневшую от варки в старом котле, не убелило даже кислое молоко. Турабджан быстро опорожнил две миски, а жена не съела еще и половины своей. Ее медлительность почему-то напоминала Турабджану хромого кота, а, вспомнив про кота, он подумал о порванном рукаве и совсем расстроился. Его хмурый взгляд словно говорил жене: «Только напрасно переводишь джугару и кислое молоко». И потому, как ни отвратительна была ей давно опротивевшая гуджа, она сделала над собой усилие и доела ее. Но тут же, бледная, встала и выбежала за угол дома, а когда вернулась, глаза ее были красны.

— Ты назвала несчастьем еще не родившегося ребенка!— возмущенно проговорил Турабджан.

Жена молча убрала скатерть. Потом, наливая воду в котел, еле слышно сказала:

— За деньги, истраченные на мед, можно было купить не один гранат.

— Как же, как же!— язвительно отозвался Турабджан.— А я вот меду принес!

— Конечно, можно было! Вы нарочно вместо граната принесли эти

поганые соты, собаки бы их лизали!

В такие минуты умолкает разум и язык отнимается. А когда язык начинает ворочаться, он бьет сильнее, чем кулаком.

— И хорошо сделал!— крикнул Турабджан, весь дрожа.— И пусть тебе все нутро сожжет! Мне-то какое дело?!

Как подействовали эти слова на жену, о том могут судить только женщины в положении. А Турабджан сказать-то сказал эти слова, но когда взглянул на жену, сам испугался. Гнев его сразу прошел, и не будь он так самолюбив, он сейчас же подошел бы к ней, погладил бы ее по голове и сказал: «Не надо, не плачь, я это со злости сказал».

— Сама доводишь до этого,— проворчал он после длительного молчания.— Зря меду купил... Да его теперь нет даже верховому, а мы с тобой пешие! Это друг хозяина привез ему в подарок немного, так я... выпросил у него чуточку. Думал, вот удача — жена обрадуется!.. Ты сколько раз в жизни ела мед?

Турабджан говорил уже в примирительном тоне, без всякого раздражения, но жена его не слышала. Вернее, слышать-то слышала, да не улавливала смысла, воспринимала его речь как обычное недовольное бурчание. И все-то три года их жизни он вот так же недовольно бурчит себе под нос, и бывает трудно его понять. Но сегодня он ясно выговорил шесть слов: «И пусть тебе все нутро сожжет!» Единственным ее желанием было — съесть гранат, и вот муж, ее единственная опора в жизни, оказывается неспособным исполнить даже это ее маленькое желание.

Жена ушла в дом. Много времени спустя в окне появился мутный свет.

Вошел в дом и Турабджан. Жена сидела у окошка, облокотившись на согнутое колено, подперев рукой подбородок, и неотрывно глядела в черновато-серую мглу неба. Турабджан остановился посреди комнаты, не зная, что делать. В нише, потрескивая, горела пятилинейная лампа, вокруг нее кружилась ночная бабочка. Что-то громко треснуло в потолке, в стене чиркнула ящерица,— и снова мертвая тишина. В ушах Турабджана зазвенело от нее. Он тоже присел к окну и стал смотреть в небо, на мигающие звезды.

Вдруг над высокими тополями в саду казия взвился красный комок огня; оставляя за собой светящийся след, он полетел еще выше и, словно ударившись в небо, лопнул и рассыпался искрами.

— Фейерверк,— сказал Турабджан.— Мулладжанказий бешик-той



сегодня справляет.

Жена не промолвила ни слова, даже не пошевелинулась.

— Из города много гостей понаехало,— продолжал Турабджан. Жена опять промолчала. Она ни разу не была в саду казия, но много слышала о нем. Не сад, а сплошная гранатовая роща, на деревьях несметное количество гранатов, с чайник величиной каждый...

— Один фейерверк сколько стоит,— рассуждал как бы про себя Турабджан.— Если выпустят сто фейерверков... то по одной таньге — это будет сто таньга. В десять да еще в десять раз больше того, что казий платит мне за месяц работы.

Оба молчали долго. Наконец Турабджан широко зевнул и стал снимать яхтак.

— На-ка, зашей,— сказал он, бросая яхтак жене.— Держи! Та взяла яхтак и положила возле себя.

— Живей!— сказал Турабджан, видя, что жена вовсе не собирается сейчас же зашивать его.— Бери в руки, тебе говорю!

— Зачем кричите? Зашью... Приспичило...

— Хочешь срывать обиду на мне?— Турабджан схватил яхтак и опять надел.— Если обижаться на каждую мелочь, лучше не жить. Бедность ведь...

— Будь она проклята эта бедность!— тихо сказала жена. Она произнесла эти слова, сетуя на бедность, а Турабджан понял их как упрек, и у него снова закипело в груди.

— А что,— сказал он хмурясь,— разве я скрывал от тебя свою бедность? Разве наряжался в день свадьбы в чужой халат и чужие ичиги, подобно Эркабаю?.. Еще не поздно, можешь выйти за человека с деньгами.

— Ну, что же, продайте свою жену баю... за пару гранатов. Эти слова как ножом ударили Турабджана в сердце.

— А-а, продать?.. Баю?..— заговорил он тихим голосом, но этот голос был страшен.— Значит, я никогда не приносил тебе гранатов?

— Никогда!— зло бросила жена, отворачивая от него пылающее лицо.

— А те гранаты, которые ты ела в прошлый базарный день, любовник, что ли, тебе покупал?

— Любовник покупал!

Впоследствии Турабджан так и не мог вспомнить: то ли он толкнул жену в плечо, а потом поднялся, то ли сразу вскочил и ударил жену. Он

увидел перед собой только ее побледневшее лицо и широко раскрытые, испуганные глаза.

— Не надо... не надо...— в ужасе шептала она. Турабджан кинулся к двери, и, немного спустя, за ним хлопнула во дворе калитка.

Жена плакала долго и безутешно. Упрекая себя за то, что она так несправедливо обидела мужа, она даже пожелала себе смерти. Потом, устав от слез, вышла во двор.

Ночь, во тьме где-то остервенело лают собаки. Вышла за калитку, оглядела улицу. Чайханы давно закрыты. Только вдали, на гузаре, мерцает одинокий маленький огонек.

Вернулась в дом. Легла. Много ли, мало ли времени прошло,— за крышей захлопал крыльями петух и звонко прокричал: «Кук-каре-ку-у!»

И тотчас же вслед за тем заскрипела калитка.

Не успела жена подняться с постели, как вошел Турабджан с узлом за спиной. Он бросил его на пол, и по всей комнате раскатились гранаты — крупные, с чайник величиной. Жена с изумлением взглянула на мужа и, увидев его бледное лицо, страшно перепугалась.

Опустившись на кошму, Турабджан обхватил широкой ладонью лоб и закрыл глаза. Жена кинулась к нему, положила руки ему на плечи.

— Где вы были?— спросила она, задыхаясь от волнения.— Что вы сделали?

Турабджан молчал. Его трясло, как в лихорадке. Открыв глаза, он с тоской посмотрел на жену, и губы его скривила болезненная улыбка. А из груди вырвалось — мучительно, тяжело, с каким-то надрывом:

— Не я... бедность... будь она проклята!

1936

## УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ

Товарищ Бакиджан Бакаев — преподаватель изящной словесности, как он себя именует,— войдя в хлев, ощутил крайнее раздражение: опять клещи в ушах у коровы! Но куда больше, чем клещи, рассердила его сама корова: не дает очистить уши. Трясет головой, фыркает...

— Скотина! Скотина, а не корова! — сказал он, хлопнув дверью хлева, и пошел по двору. Супруга Бакаева Мукаррам наливала в самовар воду.

— Скотина! — снова сказал Бакаев. Мукаррам покосилась,— Животина проклятая!.. Нужно продать эту корову, а на вырученные деньги купить свинью!

— В городе свиней держать нельзя,— сказала Мукаррам, накладывая в самовар уголь.

— Почему? Разве запрещено? Кто это сказал? Разве я это говорил? Ну, правильно, нельзя... Конечно, нельзя.

— Вы в дом зайдите, там Хамида пришла.

Шестнадцатилетняя Хамида, тоненькая, жизнерадостная девушка, увидев зятя, обрадованно вскрикнула:

- Ой! Вы, оказывается, дома! Знала бы — тетрадь принесла... ой, как жаль!

Настроение товарища Бакаева несколько прояснилось. Из мыслей его ушла прочь и корова со своими зелеными-презелеными клещами в ухе, и страшноватый призрак свиньи, которая с хрюканьем разрушает мордой арык.

— Я слышал, ты из техникума на рабфак перешла, это правда? — спросил он.— Гм-м... Что ж, правильно поступила. По-моему, это я тебе посоветовал на рабфак идти? А? Гм-м... Уф-ф, опять изжога... На рабфаке хорошо... Я там как-то был. Там еще на двери канцелярии написано «Практикум». Да-да. Это неправильно! Практикум, максимум, минимум — это все латинские слова. Я, по крайней мере, так полагаю.

Хамида потупилась. Помолчали немного.

— Бакиджан-ака,— смущенно сказала девушка,— я вас, знаете, о чем хотела спросить — вот мы в классе читали «Спать хочется» Чехова и хотим устроить суд над девочкой, которая задушила ребенка...

Потерпевшей, ну, матерью ребенка, будет Рахима, обвинителем - Шарифджан. И судьи будут! А я хочу потребовать оправдания этой девочки! Правда же, она не виновата, это все хозяева, которые ее так эксплуатировали! Она же сама маленькая! Вот... Так я и написала. Правильно, как вы думаете? Чехов так ведь и хотел сказать? Товарищ Бакаев подумал и спросил:

— Кто вам преподает изящную словесность? Хакимов? Глупый человек! Над собой не работает. Я ему говорю, что знак вопроса ставится после частицы «ли», а он, представь себе, смеется! Но дело даже не в этом...

Мукаррам вошла с самоваром. Хамида поспешно вскочила, взяла самовар и поставила его на стол. Она хотела было попенять зятю на то, что он позволяет беременной жене поднимать самовар, но застеснялась и промолчала. Товарищ Бакаев, оказывается, просто умирал от жажды — он тут же выпил одну за другой четыре пиалы чая и вспотел.

— Уф-ф, чай особенно хорошо идет после пельменей...— сказал он, вытирая пот.— О-о, опять борода выросла!.. Не будь на свете парикмахеров, люди давно уже превратились бы в обезьян. Вы знаете, как обезьяна стала человеком? Очень просто: облысела. Да, да, об этом у Энгельса сказано...

— Вы мне не ответили про девочку, Бакиджан-ака,— сказала Хамида.— Правильно я Чехова понимаю?

Товарищ Бакаев попросил еще чаю.

— Чехов? Гм-м... Видишь ли, говоря о буржуазном реализме, нужно... нужно сначала... гм-м... обратить внимание на его объект... То есть, нужно понять объективную действительность... гм... изображенную буржуазными реалистами... Гм-м, несомненно, Чехов... от начала до конца... по сути своей, да, относится к раннему буржуазному реализму... Э, Мукаррам, ты положила подкладыш в куриное гнездо? Надо сейчас же положить, не то курица бродягой станет!.. Прости господи, да есть ли животное глупее курицы, а? Положишь подкладыш — несется! И почему она несется, если положить подкладыш? Или вот — почему петух на заре кричит? А? Кто это может понять? Интересная психология! Хамида, вы биологию изучаете?

Хамида неохотно рассказала, что они проходят по биологии, потом ей пришлось вкратце объяснить, что предстоит изучить до конца учебного года, и тут она свернула на свою речь в суде: в защиту девочки она приведет доводы из области биологии... Разговор вернулся к

Чехову.

— Гм-м...— сказал Бакаев, — у меня есть свои мысли о Чехове. Пусть другие говорят, что хотят, но, по-моему, его мировоззрение... его мировоззрение отличается от мировоззрения Пушкина и Лермонтова. Да, да, отличается, хотя они писатели одной страны, одного класса, одной эпохи.

— Но Пушкин и Лермонтов не жили в одно время с Чеховым,— сказала Хамида,— у нас в библиотеке фотография висит, там Чехов снят с Горьким. Он, кажется, в девятьсот четвертом году умер? Товарищ Бакаев почувствовал неловкость.

— Вы о каком Чехове говорите?.. Налей чаю!.. Об этом Чехове?.. Правильно, этот умер в первой половине девятьсот четвертого года. Дай мне другой платок, этот луком пахнет!.. Я говорю о том Чехове, который был представителем раннего гм-м... буржуазного реализма.

— «Спать хочется» какого Чехова? — спросила Хамида.

— Конечно, этого Чехова! Эта вещь была впервые напечатана в журнале «Современник»...

Тут товарищ Бакаев начал длиннейшую речь. Хамида, однако, потеряла нить на третьем слове. Какой-то знаменитый критик Дендинг писал какому-то писателю Шлеппингу: «Когда ты станешь нуждаться в помощнике, подрастет твой сын и станет тебе помощником». А драматург по имени Стендинг писал критику по имени Демпинг: «Если всех животных создал бог, где был его вкус, когда он создавал барана?» Тут голова Хамиды отяжелела: она дважды тихонько зевнула, почти не раскрывая рта.

Было уже темно, когда, попрощавшись с сестрой и зятем, Хамида вышла на улицу. Она подумала, что мнения зятя о девочке из «Спать хочется» она так и не узнала. Она попыталась вспомнить, что он говорил, но в голове у нее загудело: практикум,— максимум, минимум... Дендинг, Шлеппинг, Стендинг, Демпинг...

1937

## ДЖАНФИГАН

Вы, может быть, знаете Джанфигана. Ну, тот самый, помните, все приставал к прохожим, просил посоветовать, о какую бы стену ему разбить голову. Однажды подпалил себе бороду и все ругал того, кто выдумал эти проклятые спички.

А вчера вечером слышим, у него во дворе плачет женщина.

Что бы это означало? Ведь известно, что Джанфиган давно уже не бил жену. Более того: известно, что однажды он даже высказался в чайхане следующим образом:

— Только подлец может бить женщину. Если у тебя руки чешутся, найди молодчика, который тоже не прочь подраться, и лупцуйте друг друга сколько влезет.

Войдя во двор к Джанфигану, мы увидели такую сцену: посреди двора пылает костер, а около него бегают плачущая Малохат — жена Джанфигана.

— Что случилось, Малохат? — спросили мы ее.

— Разве вы не видите? Облил керосином все мои вещи и поджег. За шесть лет хоть бы пару чулок купил! Все сама заработала. А он — вот спалил! В одном комбинезоне осталась...

Джанфиган крикнул, высунувшись в окно:

— Давай, давай рассказывай. Ты ведь всегда правду говоришь, это я вру.

Он выбежал из дома и с жаром заговорил — чувствовалось, что ему необходимо немедленно восстановить истину. Джанфиган жаловался на великую несправедливость, упоминал о какой-то статье уголовного кодекса, рассказывал о святом, предостерегавшем своего сына против женского коварства.

Оказывается, вчера вечером жена заявила ему, что жить с ним больше не желает, и потребовала развода.

Ссоры, как известно, бывают разные. Иногда они возникают из-за такой ерунды, что ни муж, ни жена не могут потом вспомнить, с чего же все началось. Понимая, что здесь именно тот случай, мы решили примирить супругов и не допустить, чтобы они, переступив порог загса, отправились в «отдел смерти и разводов». Мы попросили их подробно

рассказать о причине ссоры. Из печальной истории, которую поведали нам супруги, другой на моем месте, наверное, сделал бы целый роман, я же расскажу только самое существенное.

Лет шесть тому назад Джанфиган был кучером в каком-то учреждении. Потом его выгнали: решил подработать «налево» и попался. После этого он заведовал овощным ларьком, но бросил и эту работу, слишком уж овощи дешевы: «Рубля не накинешь, а на копейке не разживешься».

Джанфиган устроился на завод, но и там ему не понравилось — никаких доходов, кроме зарплаты. Чем только он ни занимался, уйдя с завода: и цветы продавал, и мясником был, и штукатуром, и даже торговал на базаре дынями, разрезанными на куски,— все ему было не по душе.

Когда Джанфигана первый раз прогнали с работы, Малохат, несмотря на возражения мужа, устроилась в райсовет уборщицей. Вскоре она научилась грамоте, а через полтора года стала уже иногда говорить на собрании докладчику: «Товарищ, у меня к вам вопрос». Шофер райсовета Мария Тищенко была прямо в восторге от ловкости и понятливости Малохат. Как-то после работы она зазвала Малохат к себе домой и уговорила ее поступить на курсы шоферов.

Джанфиган неодобрительно отнесся к затее жены, но препятствовать ей не стал: «Пусть потешится, мечтать никому не запрещено». Окончив курсы, Малохат стала водить грузовик. Муж и тут не стал возражать: «Ну ездит и пусть ездит. Не она же в конце концов автомобиль выдумала». Малохат несколько раз получала премии. Джанфиган оставался равнодушным: «Тоже мне, деньги! Коня с верблюдом не купишь!»

Так шло до того памятного вечера, когда Джанфиган подпалил себе бороду и намеревался разmozжить голову о стену. В тот вечер он был в парке культуры и на доске Почета увидел огромный портрет своей жены. Джанфиган растерялся. Противоположные чувства боролись в нем: любовь и ненависть, зависть и страх. Придя домой, Джанфиган сначала расцеловал жену, потом начал скандалить. Это была их первая крупная ссора.

— Ну, а сейчас из-за чего вы поссорились? — спросил один из нас, когда мы выслушали этот невеселый рассказ.

— Да как же с ним не ссориться? — ответила Малохат,— Не одно, так другое... Ведь чего только не выдумает! Теперь, говорит, на тебя все

смотреть будут. Влюбится еще какой-нибудь. У меня и в мыслях не было...

— Конечно, у тебя и в мыслях не было...

— А то было?

— Если бы у тебя не было никаких мыслей, зачем бы тебе зоб вырезать? А? Ну, скажи-ка вот при всех, скажи.

Действительно, у Малохат был раньше зоб с небольшую пиалу, и она прошлой весной вырезала его. Это послужило тогда причиной новой грандиозной ссоры, которая затянулась на целую неделю.

— А разве плохо, что я его вырезала? — смущенно спросила Малохат.— И как вам не стыдно так говорить? Все-таки я ваша жена.

— Да, да, а то для меня ты его вырезала! Еще чего! По мне ты и так хороша была!

— А зачем же вы тогда попрекали меня этим злосчастливым зобом? Сколько я из-за него слез пролила!

Джанфиган засмеялся.

— Попрекал... Бывало, конечно... Только чего же плакать...

Оказывается, после того как Джанфиган увидел жену на доске Почета, он решил, что теперь она его все равно бросит, и совсем перестал работать.

Малохат уговаривала мужа поступить на работу, ссорилась с ним, плакала. Наконец Джанфиган решил взяться за ум и поступил на хлебозавод. Однако и там он продержался не больше месяца — прогнали за прогулы. Некоторое время ему удавалось скрывать это от жены, потом пришлось покаяться и дать слово работать честно. А третьего дня смотрит — опять он без дела шатается.

Малохат пошла к нему на работу, и ей рассказали там, какую штуку выкинул ее муженек. Он, оказывается, проработал недели две, надоело ему, и отправился Джанфиган в поликлинику за бюллетенем. А чтобы наверняка получить его, недолго думая, воды из кальяна напился. Доктор, не будь дурак, промыл ему желудок и говорит: «Ты что это? Ослеп? Табак есть вздумал!»

Дошло до начальства, пришлось уйти. Ну, конечно, дома опять скандал.

— А почему же вы все-таки так поступили? — спросили мы Джанфигана.

— Нечистый попутал,— ответил он, чертя палочкой по земле.

— Сами вы любого нечистого попутаете! Ведь надо же — воды из



кальяна напился! — возмущенно сказала Малохат.

Помолчали. Джанфиган все чертил на земле. Наконец перестал, поднял голову и выпрямился.

— Вот мое слово. Разводиться я не хочу. Вручишь мне бумажку о разводе — пожалеешь. При свидетелях говорю тебе — намылю веревку...

Джанфиган зарыдал. Малохат, должно быть, никогда не видевшая мужа в таком состоянии, смутилась.

— Поймите,— мягко сказала она,— не зарплата ваша мне нужна, я хочу, чтобы вы работали, как все люди. Ведь соседям в глаза совестно смотреть!

Джанфиган стал уверять жену, что это в последний раз, что он возьмется за ум, и призывал нас поручиться за него. Мы выполнили его просьбу, но, прямо скажем, без особой уверенности. Были все основания опасаться, что придется краснеть перед этой женщиной.

Выйдя от супругов, мы зашли в чайхану. Немного погодя туда пришел Джанфиган и спросил нас:

— Ну, как думаете, успокоилась она или опять приставать будет? Не успели мы ответить, как в чайхану заглянула Малохат. Джанфиган весь как-то съежился и пошел ей навстречу.

На следующее утро мы узнали ошеломляющую новость: Джанфиган не пустил к себе в дом друзей-бездельников.

1939

## ДЕВУШКИ

*Ржут жеребята —  
конями стали.  
Плачут невестки —  
чужими для родных стали.  
Из старинной песни*

Пусть скажет какой-нибудь беспристрастный человек: отыщешь ли во всем Узбекистане другого такого парня, как Нурматджан? Ну, если и отыщешь, едва ли он станет вертеться перед зеркалом, как, бывало, наш Нурматджан, да еще рассуждать: «Какую бы мне взять жену?»

Вы только поглядите на него: право, тысячу раз пожалеешь, что у него две руки. А без одной руки фигура у него была бы ни дать ни взять — кальян для курения.

А знали бы вы, как изменились в последнее время его понятия. «Это раньше, говорит, я ничего не смыслил. Конечно, хорошо, если жена где-нибудь служит и приносит мужу жалованье. Особенно если она не очень-то на виду: где-нибудь в мастерской или в учреждении, где работают женщины. Красота — вещь хорошая, но она как фарфоровое блюдо: совсем недурно, если на нем еще и казы».

В домово́й книге Нурматджан теперь значится не как Ташходжаев, а просто — Ташев. А не всякий осмелится исказить имя такого выдающегося человека, как ишан Ташходжи. Ведь это был не какой-нибудь захудалый человечиска: из пятнадцати его коней только два могли поднять хозяина.

Правда, есть у Нурматджана один недостаток — бедноват. Может, он и не был таким, достанься ему отцовское добро. Но ведь от имущества отца остались рожки да ножки, и Нурматджану самому пришлось думать о хлебе насущном. Пойти на какую-нибудь недостойную его черную работу Нурматджан, разумеется, не мог, а подходящей должности не попадалось. Тогда он и решил: как-нибудь перебыть дня три-четыре, а там, глядишь, подвернется что-нибудь приличное...

И вот уже пятнадцать лет он так думает, особенно по средам, в день

исполнения желаний.

Оно и понятно, может ли такой человек не обидеться, если его заденут. Если даже подумает о нем кто неуважительно, и то ему очень тяжело. Так что дочерям Ядгора следовало бы знать это.

А с дочерьми Ядгора вот какое дело: в свое время Ядгор обещал отцу Нурматджана, Ташходжи, обеих своих дочерей: Каромат и Адолят. Каромат тогда было десять лет, Адолят — три. А через полгода Ядгор зарезался в суде. Почему в суде, почему зарезался — так и осталось тайной. Потом, после свержения царя Николая, имам Ташходжи уехал в Бухару, сынок только его и видел. Обе девушки, обещанные ишану, по наследству должны были перейти к Нурматджану. А тут оглянуться не успели, Каромат подросла — невеста! Нурматджан стал было хлопотать о свадьбе, да вмешался женотдел, и все расстроилось: девушка, видите ли, не любит его. Нурматджан не стал особенно огорчаться: если девушка связалась с этими бесстыдницами, тем хуже для нее, он умывает руки. Нурматджан оставил Каромат в покое и все свои надежды возложил на младшую сестру. Оно и к лучшему, потому что теперь эта Каромат — директор завода и под началом у нее больше тысячи мужчин, в том числе и собственный муж.

Когда старшая сестра вышла замуж, младшей было только одиннадцать лет, и по новым порядкам, чтобы жениться на ней, надо было ждать еще лет пять-шесть. Нурматджан полагал, что вдова Ядгора, посрамленная недостойным поведением своей старшей дочери, стыдится на глаза ему показываться, и был вполне спокоен за Адолят.

Полгода спустя он услышал, что девушка поступила в интернат, а потом вместе с подругами уехала учиться в Самарканд.

Сначала Нурматджан был несколько озадачен, что старуха не посоветовалась с ним в таком важном деле, но, поразмыслив, понял, что она поступила совершенно правильно: очень мудро избавить Адолят от тлетворного влияния старшей сестры; к тому же в Самарканде много святынь, там Адолят лучше будет помнить об обете, данном ее отцом.

Эти соображения помогли Нурматджану спокойно ждать Адолят еще шесть лет. Правда, иногда у него возникали сомнения, но он твердо решил, что, если Адолят не вернется такой же, как уехала, он ей кишки выпустит.

Когда девушка должна была вот-вот вернуться, Нурматджан узнал неприятную новость: Адолят уехала в Ташкент и будет там еще пять лет учиться на химика!

Нурматджан хорошо знал, что такое химики. Они из камней могут золото делать. Если Адолят станет химиком, ей незачем работать в мастерской или в учреждении,— сиди себе дома и делай золото. Конечно, с другой стороны: пять лет... девушка молодая... опять же химиком будет... как бы не увел ее какой-нибудь молодец. Всякому интересно заполучить жену, которая, сидя дома, будет запросто делать золото. Допускать этого нельзя!

Что же предпринять? Не очень-то приятно, но ничего не поделаешь — придется повидать старуху. Надо ей сказать: «Адолят приедет сюда, а пока что давайте устроим плов и оповестим о сговоре весь квартал».

С таким намерением Нурматджан отправился в среду вечером к вдове Ядгора.

Встретив старуху на мосту, он немного растерялся.

— А... тетушка,— сказал он поспешно.— Адолятхон должна бы приехать... А мы бы плов устроили...

— А, это ты, Нурматджан? Почему ты в совхоз не поехал? Там рабочих набирают...

— А разве Адолят в совхозе?

— Адолят? Нет, Адолят в Ташкенте. Я недавно к ней ездила. Такого хорошего мальчика родила...

Нурматджан открыл рот и захлопал глазами.

— Как, почему родила?

— Ну, а почему бы ей не родить?

— Она что же, замуж вышла? — сообразил наконец Нурматджан.— Как же вы, с вашими седыми волосами, могли допустить такое?

— А что же тут плохого?

— Но ведь обе ваши дочери были обещаны...

Старуха с трудом удержалась от смеха.

— Ах, ты вот о чем. Так они твоему отцу были обещаны. А потом ведь нынешнюю девушку насильно не выдашь, надо, чтобы она тебя полюбила.

— Подождите, тетушка. Правда, девушки были обещаны моему отцу, но ведь у него нет других наследников, кроме меня. А потом, зачем мне добиваться любви Адолят? Исполнение обета — ваша забота. Каромат тогда по-своему поступила, я промолчал. И сейчас ничего не скажу, делайте как знаете, могила — каждому своя.

Тут уж старуха не выдержала, рассмеялась.

— Что же теперь делать, Нурматджан? — сказала она, вытирая

выступившие от смеха слезы, — Так вышло. Видно, так тому и быть. Ты уж не жалуйся отцу, когда видишь его во сне. Я тебе такую девушку высватаю. Приемным зятем моим будешь!

— Не нужна мне ваша девушка!

— Это почему же?

— Мне и Адолят хороша!

— Ну? Тогда делать нечего, придется написать ей, чтобы на развод подавала... Ну, будь здоров, сынок, до свиданья.

Когда старуха была уже довольно далеко, Нурматджан крикнул ей вдогонку:

— Тетушка, когда же мне зайти к вам, узнать?

Старуха не расслышала. Она шла и рассуждала сама с собой: «Подумать только, ведь в старое время Адолят пришлось бы выйти замуж за этакое пугало. А сказать ей — не поверит, умереть мне, не поверит».

## СИНИЙ КОНВЕРТ

Гвардии сержант Иркабай Мирзаев сидел у окна в госпитальной палате и задумчиво смотрел на улицу. Мимо окна прошел человек с полной корзиной персиков. Персики были крупные, спелые, с пушистой желтовато-красной кожицей. Иркабаю страшно захотелось попробовать вкусный плод, и он с сожалением посмотрел вслед обладателю полной корзины персиков. «Эх, подбросил бы штуки четыре!» Он живо представил себе, как осторожно снимает с персика мяжку, бархатистую кожицу, как кладет в рот сочный, мясистый плод и глотает слегка терпкий, сладкий сок.

На другой день опять тот же самый человек прошел мимо окна с персиками. Весь долгий день Иркабаю мерещились персики и персиковые сады. Даже ночью приснилось, будто он гуляет с девушкой в благоухающем саду, а она говорит: «Смотри, какие замечательные персики. Что медлишь? Срывай скорее!..»

Уже пять с половиной месяцев Иркабай находился в госпитале. С некоторых пор он начал испытывать ужасную скуку. Скука переходила в тоску. С товарищами по палате давно обо всем переговорено, его никто не навещает, а выйти самому... но куда же пойти? Знакомых в городе нет.

Хотелось поскорее вернуться на фронт. Там его товарищи, каждый день приносят интересные новости... Кроме того, со всех концов страны бойцам посылают письма, подарки. Мирзаев только за один месяц, перед ранением, получил три письма и две посылки от совершенно незнакомых людей.

Как-то на Западном фронте, когда Иркабай был еще рядовым бойцом, командир отделения подошел к нему с маленькой посылочкой и сказал: «На, тебе, чернобровый, черноглазый парень!» Иркабай был удивлен словами командира, но, взглянув на посылку, увидел, эти слова были написаны на ней, как адрес: «Западный фронт. Вручить чернобровому, черноглазому парню, убившему более десяти фашистов».

В посылке было граммов двести хорошего табаку, маленький батистовый платочек красивой расцветки и коротенькая записка,

вложенная в синий конверт: «Товарищ красноармеец! Табак курите вместе с товарищами, а платочек сохраните — востребую после войны. Лати́фа Гулямова».

Иркабая так взволновала записка, что в тот же день он написал Латифе сразу два письма. Одно из них состояло из самых изысканных приветствий и благодарностей, а в другом он намекнул на чувства, о которых можно говорить девушке только на ушко. Прошло месяца два,— ответа на письма не было. Тем временем разыгрались крупные бои. Часть, в которой находился Иркабай Мирзаев, стала гвардейской, и сам он стал гвардии сержантом. Он снова написал Латифе, но ответа не получил. Осталось предположить, что Иркабай своими намеками сильно обидел девушку.

Вскоре Иркабай был тяжело ранен и больше месяца лежал в прифронтовом эвакуогоспитале. Для окончательного излечения его эвакуировали в глубокий тыл, и он попал в тот самый город, где проживала Латифа. Вспомнив о девушке, Иркабай решил: «Как только встану, обязательно пойду навестить ее». Но когда он поднялся с койки, получив возможность передвигаться с помощью костыля, решимость оставила его. «На что мне надеяться? — думал он.— Письма мои она оставила без ответа, платочек обещала востребовать только после войны, а это значит, что она предупреждала: пока не разделаешься со всеми фашистами, не показывайся мне на глаза...»

В последнее время Иркабай перестал было и думать о Латифе, но странный сон о персиковом саде и девушке, чем-то смутно напоминавший о Латифе, снова всколыхнул мысли о ней. Разве обязательно при встрече говорить: «Я — Иркабай Мирзаев!» — можно назваться, к примеру говоря, товарищем Мирзаева и передать фронтовой привет от него. Кажется, она у меня хорошая девушка, с ней будет приятно поговорить, может быть, удастся погулять в городском саду или сходить в кино.

Так думал гвардии сержант Иркабай Мирзаев и, решив, не откладывая, выполнить свое намерение, в первое же воскресенье собрался в гости к Латифе. Принарядившись, он посмотрел в зеркало и остался доволен собой: выданное из госпитального склада обмундирование ладно сидело на его стройной фигуре, побледневшее после долгого лежания в палате лицо теперь снова приобрело юношеский — розоватый оттенок, а пришитая к гимнастерке ленточка двух тяжелых ранений объясняла и даже делала почетными легкое прихрамывание

на левую ногу и стандартный, белого некрашеного дерева костыль в правой руке.

Разыскав дом, где жила Латифа, Иркабай с волнением постучался в калитку. В голове мелькнула неприятная мысль: «А что если Латифа — старая женщина, которая, подобно виноградине, потеряв сок, превратилась в кишмиш?» И когда в калитке перед ним показалась сморщенная старуха, он так растерялся, что не смог слова сказать.

Старушка, моргая подслеповатыми глазами, несколько секунд молча разглядывала сержанта и вдруг, обняв за шею, поцеловала в обе щеки.

— Ах ты, голубчик, красавец мой,— заговорила она с Иркабаем, как с самым дорогим человеком,— Что это у тебя с ногами? Заходи, заходи скорей. Сюда, мой милый...— Шаркая ногами, она торопливо пошла к низенькому крылечку.— Эй, доченька, где ты там, ставь самовар. Выдька, посмотри: вот, приехал боец с фронта...

Сердце Иркабая вздрогнуло при мысли, что сейчас он увидит Латифу.

На крыльцо вышла девушка лет семнадцати, в полосатом стрельчатого узора платье, с длинными черными косами, уложенными в несколько рядов вокруг головы. Она только поздоровалась с фронтовиком и убежала в дом хлопотать по хозяйству. Иркабай с горечью подумал, провожая ее глазами: «Такую красавицу я отпугнул своими дурацкими письмами!»

— И таким парнем, как ты, война все еще не дает устроить свой угол и исполнить свои желания,— между тем говорила старушка, расстилая для Иркабая одеяло на супа,— Ох, времечко. А все из-за сумасшедшего Гитлера,— гореть бы ему в огне на том свете... А Латифа, наверно, тоже с вами, сынок?

Из дома вышла девушка со скатертью в руках. Услышав последние слова матери, она улыbnулась:

— Вот с этого бы и начинали, мама... Вы с какого фронта? — обратилась она к Иркабаю,— Сестра на Центральном.

— Как?! — удивленно воскликнул Иркабай,— Латифа на фронте? Почему она там?

— Медсестрой пошла. Уехала отсюда в мае прошлого года.

— Вот оно как!

— Да, сынок, так...— снова заговорила старушка.— Сколько я говорила ей: не можешь ты ездить на коне, не умеешь стрелять из



пушки,— что будешь делать на фронте? Нет, не послушалась. Храбрая уж очень. Только и думала о войне. Писала письма красноармейцам и командирам, посылала подарки. Вот уж больше года прошло, как уехала, а письма все идут и идут для нее со всех фронтов. Доченька, сколько ты переслала ей писем. Да, помню: сто два письма.

Иркабай даже испугался: «Три моих... и еще девяносто девять!»

— И все с фронта?

— Ас теми, кто в тылу, она и знаясь-то не хотела. Уж такая... Иди, принеси, доченька, ее карточку, пусть братец посмотрит... Некоторые письма дочка прочитала мне. Так рады, так благодарят ее красноармейцы и командиры... Два письма написаны каким-то озорным парнем... Да уж ладно, пусть живет долго.

Иркабай густо покраснел.

Девушка принесла несколько фотографий.

Снималась еще здесь,— сказала она, протягивая Иркабаю одну из карточек.

С фотографии застенчиво, чуть, потупясь, смотрела молоденькая девушка. «А ну вас, молчите»,— словно говорила ее смущенная улыбка, предупреждая всякие похвалы ее красоте.

— Посмотрите, сынок,— сказала старушка на другую карточку.— Это она снималась в Москве.

«Как идет ей военная форма!..» — У Иркабая даже зарябило в глазах. Здесь Латифа была совсем другая. Она стояла с гордо вскинутой головой, глаза ее задорно поблескивали, и весь ее вид как бы говорил: «Эй, парень, поберегись!»

Иркабай задумался. Машинально он перевернул карточку и увидел фронтовой адрес Латифы.

— Вы узнали ее? — спросила старушка.

— Мамаша! — дрогнувшим голосом обратился к ней Иркабай.— Дайте мне карточку. Одна из посылок Латифы досталась моему близкому другу. Он раненый, лежит в госпитале, а ему очень хотелось познакомиться...

— Как его зовут?

Иркабай растерялся.

— Из тех писем, которые вы получили,— стал он объяснять,— три письма — от него. Но он не тот озорной парень, о котором вы говорили... Он...— Иркабай совсем запутался и замолчал.

— Хорошо, возьмите,— сказала сестра Латифы и улыбнулась, как

будто разгадав, кто этот «он».

Иркабай положил карточку в нагрудный карман и встал. Как ни уговаривала его хозяйка остаться пить чай, он распрощался и ушел, боясь выдать себя.

Вернувшись в госпиталь, Иркабай до самого вечера составлял письмо. Написав его, наконец, набело, он взял синий конверт — точно такой, в каком прислала ему свое письмо Латифа, и сделал на нем четкая надпись:

«Действующая армия. ППМ 19640-Б. Вручить чернобровой и черноглазой Латифе Гулямовой, если она вынесла с поля сражения более десяти раненых».

На этот раз Иркабай сумел многое сказать в своем письме девушке, но пересказывать здесь его содержание было бы, пожалуй, нескромно.

1943

## СТАРЫЙ АСРОРКУЛ

Хайдар-ака крепко дружил с ультарминцем Асроркулом.

Еще в тот год, когда белый царь силой стал забирать народ на тыловые работы, однажды вечером Хайдар-ата зашел к кузнецу Уста Мумину и увидел, что меха раздувает незнакомый человек. Хайдар-ата спросил: «Кто такой?» Ему ответили: «Беглый».

А месяца за три-четыре до этого случая в кишлаке прошел слух, что в Ультарме были беспорядки, из города приехали солдаты и угнали много людей, которых будто бы станет допрашивать чуть ли не сам губернатор. И вот этот незнакомый человек оказался как раз одним из тех, которые тогда убежали от солдат; это мельник по имени Асроркул.

Известно, что, когда толпа возмущенных людей настолько распалится, что готова идти на решительные действия, достаточно иногда лишь слова, чтобы вызвать взрыв. Как раз в такую минуту Асроркул, растолкав народ, вышел вперед и крикнул: «Эй, слушайте, люди: у белого царя дом разваливается, так пускай он набирает себе покорных рабов из своих людей, а мы никуда не пойдём!»

Толпа ринулась к дому волостного управителя. Волостной сбежал. Из города нагрянули солдаты... С тех пор вот и скрывался Асроркул, перебираясь из одного кишлака в другой.

Асроркул обосновался в кузнице Уста Мумина и помогал ему в работе.

Хотя и в те времена Асроркулу было уже лет тридцать пять, он еще не успел обзавестись семьей. В Ультарме он жил на скудный доход, который приносила ему маленькая мельница о двух поставах, доставшаяся в наследство от отца.

На новом месте Асроркул крепко подружился с Хайдаром-ата, стал по вечерам заходить к нему потолковать о том о сем. При этом Асроркул всегда вспоминал о своей мельнице и так сокрушался о ней, что Хайдар-ата однажды нарочно отправился в Ультарму, чтобы все разузнать. Оказалось, что сельский управитель, амин, захватил мельницу Асроркула в свои лапы, ссылаясь на то, что она, мол, «перешла в казну».

Прошло несколько месяцев. Однажды Хайдар-ата, приехавший по

своим делам в город, услышал: «Белому царю дали по шапке». «Ну, если так, надо скорей ехать обратно, обрадовать Асроркула»,— решил Хайдар-ата и поспешил к себе в кишлак, а Асроркула уже и след простыл: он уже, оказывается, узнал обо всем и умчался в Ультарму. Недели через две, однако, он прибрел обратно разочарованный.

— Ну, как? — спросил его Хайдар-ата.

— Царь-то слетел,— ответил Асроркул,— а вот амин сидит себе как ни в чем не бывало.

И вот прогнали царских аминов в Петрограде, Ташкенте, Коканде, но Асроркул все равно не смог вернуться в свою Ультарму. Кишлак стал к тому времени настоящим гнездом басмачей. Тогда Асроркул махнул рукой на Ультарму и на мельницу и при посредничестве Хайдара-ата женился на одной здешней вдове. Жена родила ему сына. Уста Мумин был грамотей, он поглядел в какую-то книгу и нарек младенца Едгором, пояснив отцу: «Пусть это будет тебе память о том времени, когда ты скитался, как беглый, у себя же на родине».

Вот так и прожил здесь Асроркул вплоть до того самого года, когда приехал в Узбекистан Михаил Иванович Калинин. А потом житье стало мирное, и Асроркул перебрался вместе с семейством в свою Ультарму. Мельница его к тому времени развалилась, но он ее восстановил. С этой мельницей он и вступил в колхоз.

Хоть и немалый путь был до Ультармы от кишлака, где жил Хайдар-ата, однако приятели часто виделись друг с другом. Сын Асроркула, тот самый Едгорбай, отслужил уже в Красной Армии и хотел было свататься к племяннице Хайдара-ата, как вдруг началась война, и свадьбу пришлось отложить.

Однажды в кишлак пришло от Асроркула письмо, адресованное Хайдару-ата. Письмо было какое-то странное, не поймешь: не то Асроркул недоволен чем-то, не то еще что-нибудь такое... В общем что-то не так. И вот Хайдар-ата отправился в путь, решив, во что бы то ни стало увидеться с другом.

В Ультарму Хайдар-ата добрался уже в сумерках. Асроркула дома не оказалось (он ушел в чайхану), и гостя встретили его жена и младший сын хозяина — Абрар. Старушка, несмотря на позднее время, сейчас же принялась готовить ужин. Хайдар-ата справился у нее насчет Едгорбая:

— Ну как, пишет что-нибудь сын?

Старухе, видно, только этого вопроса и не доставало: слезы ручьем полились у нее из глаз.

— Друг-то ваш, ну просто горе мне с ним: не показывает мне писем сына, да и только. Да и Абрару тоже не показывает. А если нет писем, все равно ничего не говорит. Сам-то он к старости совсем из ума выжил, заделался, видите ли, чайханщиком. Абрар мой чуть ли не сгорел со стыда. Подумайте сами: ну что скажут люди, «сын не сумел прокормить отца, голодом заморил», не так ли? Уж и председателю говорила, сама в сельсовет ходила — ничего не помогает. Старик-то мой, знаете, что сказал: «Кто против того, чтобы я был чайханщиком, тот мне враг, в район сообщу». Вышел у него насчет этого крупный разговор с председателем, он и на председателя нажаловался в районе.

— А в чайханщики-то годится он, что ли?

— Такой бедовый... Даже без палки стал ходить.

Как раз тут и Асроркул, легок на помине, явился домой. Хайдар-ата с трудом его узнал. До того бодрый он стал, такая уверенность у него появилась в походке, что просто удивительно: ну, ни дать ни взять седобородый юноша. Однако похудел он сильно, да и загорел. Он, видимо, и сам это знал, потому что предупредил вопрос Хайдара-ата:

— Ну что, похудел я, загорел, а?

— Да нет, ничего, все в порядке. Ты как сушеный виноград... Ну как, есть письма от Едгора?

— Чуть не в каждом письме о тебе справляется... А ну, сынок, наладь-ка нам чилим покурить!

Раньше Асроркул не курил табака. Только было раскрыл рот Хайдар-ата, чтобы спросить его об этом, как вдруг увидел старуху, которая, стоя за спиной Абрара, выбиравшего раскаленные угли из очага, делала руками гостю знаки, чтобы он попросил показать письма сына.

Хайдар-ата едва заметно кивнул ей головой.

— Так... Да, не берет пуля твоего Едгора. Нет ли у тебя какого-нибудь письма, почитаем, что он пишет.

— В чайхане все письма лежат.

Старуха не удержалась и заговорила: видно, терпение у нее лопнуло:

— Да покажи хоть одно письмо, бесстыжие твои глаза! Всех уж ты измучил.

— Какое письмо ни напишет сын: хорошее ли, плохое ли — ты все равно плачешь. Что толку тебе их показывать?

— Что я, у тебя слезы в долг беру?

Старуха заплакала. Асроркул вскипел.

— Опять! Нет, давно уже ты меня выводишь из себя. Будь это в прежнее время, я бы тебе все ребра пересчитал.

— На, бей, ломай ребра! Не бойся, жаловаться не побегу!

— Я не боюсь, просто зазорно мне бить женщину.

Асроркул так затянулся чилимом, что табак вспыхнул. По выражению лица старика чувствовалось, что он вот-вот обидит старуху. Хайдар-ата решил маленько его утихомирить.

— Брось, не обижай, видишь — тоска ее заела.

Старик еще больше раскипятился:

— Если тоска ее заела, значит и мозги ей заело? Когда в дом к тебе воры лезут, ты ведь не станешь прятать сына в сундук да соседей звать. Каждому свое дитя дорого.

— Хорошо, что хоть ты понимаешь, что дорого свое дитя! — снова вмешалась старуха.— Пойми: тоскую я по сыну, а раз тоскую, так и плачу.

— Ну и реви, от этого иногда легче бывает. Но уж реви, как все ревут, вот в чем дело.

— А как все ревут, скажи?

— Другие ревут, когда им делать нечего, а ты реवेशь без перерыва. Ни за собой не смотришь, ни за домом. Посмотри только вон на лампу да на стекло!.. В кишлаке ни у кого мухи не увидишь, а у нас даже ночью житья нет от них.

— У меня все из рук валится, понимаешь ты!

— Очень хорошо!.. Вот как, дескать, я люблю Едгорбая. Так, что ли? Иди сюда, садись. На вот тебе пиалу, пригодится на слезы... Значит, ты его так сильно любишь?.. Абрар, сынок, я там засунул газету в дупло айвового дерева, принеси-ка ее сюда. Очень хорошо... Ну, так вот, если ты так любишь его, то послушай, что я тебе прочитаю:

«...За истекшее время, то есть за два года войны, потери СССР составили: орудий — 35 000, самолетов — 23 000». Понимаешь? Ты забудь о другом, пойми только: если пушек столько потеряно, то сколько всего потеряно? Как ты думаешь: из этих пушек за день сколько вылетело снарядов? А кто доставляет столько снарядов? Разве не отцы и матери, братья, сестры и жены таких вот солдат, как наш Едгорбай? На солдат, вроде нашего Едгорбая, враг сразу по сто — двести самолетов напускает. А кто строит много больших самолетов, которые сбивают немецкие? Опять же отцы, матери, братья, не так ли?

Я думаю, что они тоже любят своих, тоже скучают по ним. Или не скучают, по-твоему? Нет, тоже скучают, да не так скучают, как ты! Они рук не опускают, они все терпят! Это верно, что ты самолета не можешь построить, кетменем не можешь махать, но все же, если захочешь, так и ты работать сумеешь. У тебя есть огонь в сердце, так вот разжигай его, пускай все горит: и сухое и мокрое. Враг хочет нас всего лишить, да немало уже и лишил. Если есть еще сердце, которое не горит, так и оно загорится, когда ты напомним об этом. Так поджигай его, жги! Вот тогда больше станет немцев, которые будут плакать о своих детях, лучше тогда будет.

У Асроркула даже голос изменился. Он вскочил с места и, схватив чилим, подошел к очагу. Хайдар-ата понял, что у старика слезы подступили к горлу. Он внимательно посмотрел на старуху, чтобы знать, заметила ли она это. Старуха заметила. Она молча глотала слезы. Тем временем Асроркул выкурил свой чилим и позвал старуху:

— Ну ладно уж, иди сюда, выкладывай свой плов! — и затем добавил язвительно: — Или уж мне самому, что ли? Вид у тебя такой, что, пожалуй, если я тебе не положу плов в рот и не заставлю жевать, так сама ты и не справишься!

Старуха бросила быстрый взгляд на Хайдара-ата. Взгляд этот говорил: «Ну, слава богу, шутит».

Асроркул опять сел на свое место. Жилы на висках у него набухли, дышал он тяжело и неровно.

— Что с тобой? — спросил Хайдар-ата.

— Ничего... Табак, верно, ударил в голову.

Хайдар-ата хмыкнул что-то и промолчал. Теперь он уже по-другому истолковал слова старухи о том, что муж не показывает писем Едгорбая.

За пловом разговор возобновил сам Асроркул.

— Тут с фронта приехал один джигит, раненый, Сыдыкджаном его зовут. В прошлую пятницу зашел он в чайхану и порассказал немало о том, что видел на войне.

Старуха спросила с нетерпением:

— Что же он говорит?

— Ешь, ешь, я расскажу. Налей-ка мне чаю... говорил Сыдыкджан об одном солдате, о том, как его убили. После сильного боя они, значит, отстали как-то от своих, а было их тринадцать человек. Двое суток бродили они по лесам и вот выходят к какому-то хутору. Кто там:

немцы ли, свои ли — никак не узнаешь. «Ну, тут мы вдвоем,— говорит Сыдыкджан,— решили пойти вперед разузнать что и как. Со мной пошел Агабеков, молодой джигит, красивый он был, просто замечательный». Он еще в походе показывал Сыдыкджану письмо от своей жены, карточку ее и сына своего, да все печалился. «Ну вот, идет мы это по полю,— говорит Сыдыкджан,— выходим на большак, глядим, на обочине валяется машина перевернутая, а около нее копошатся трое в серых мундирах. Мы сейчас же залегли». Дальше, значит, Сыдыкджан налаживает автомат и уже хочет стрелять, а тот боец хватить его за руку: «Постой, постой, говорит, он письмо читает. От жены, наверно, от детей». «Я,— говорит Сыдыкджан,— не послушал его, дал очередь, только замешкался малость, тут и пошла пальба. Все же я всех троих уложил, а потом обернулся, а друг-то мой лежит весь в крови».

Старуха сильно расстроилась из-за того, что джигит пропал зря. Сначала она выругала немцев, а потом высказала упрек и по адресу убитого:

— Эх, джигит! Да ведь тебя с семейством как раз враги и разлучили, зачем же ты хватаешь того за руку, кто хочет их застрелить! Письмо читает, скажи на милость! В могилу надо врагов загонять... Сам себе навредил, да и только.

— Вот Сыдыкджан как раз это самое хотел сказать, да не сказал. Бедняга-то, джигит тот, перед смертью сам признался: «Коли любишь свою семью, так лучше не думай о ней»,— вот что он сказал. «Эти его слова,— говорит Сыдыкджан,— потом у бойцов стали вроде пословицы». Так вот, нельзя на войне так себя распускать, да не только на войне — и здесь то же самое. Надо ум иметь и понятие, чтобы держать себя в руках. Если у кого голова не управляет сердцем, так замычи тебе теленок, а он уж охает, потому что раз теленок мычит, значит, он плачет по-своему... Абрар, сынок, полей-ка на руки воды!

Когда старуха готовила постель, она опять сделала знак Хайдар-ата, чтобы тот попросил письмо Едгора. Хайдар-ата, тоже жестами, дал ей понять, что письма в чайхане и что он завтра их сам принесет.

Утром Асроркул поднялся чуть свет и ушел, наказав старухе, чтобы Хайдар-ата был к полудню у мельницы.

Мельница стояла на берегу бурной речки Шухсай. Хайдар-ата решил воспользоваться прогулкой, чтобы осмотреть окрестности, а потом пошел через базар, хотя для этого ему пришлось сделать изрядный крюк.



Как раз около базарчика, во дворе сельской школы, весной того года, когда началась война, оба друга смотрели кино, видели на экране Ленина и слышали его... По выходным дням автомобиль с кинопередвижкой приезжал сюда из города и показывал картины. Сейчас на киноплощадке Хайдар-ата увидел груды сухого янтака. «Что ж, разве могут теперь здесь быть картины? — подумал старик.— Да и где сейчас та молодежь, которая шутила, смеялась и вверх дном переворачивала весь кишлак в тот вечер, когда здесь шло кино?»

Погрузившись в раздумье, Хайдар-ата незаметно для себя подошел к мельнице. Скрытая среди деревьев на берегу речки, она глухо гудела где-то внизу. Хайдар-ата стал оглядываться вокруг, ища глазами чайхану, как вдруг увидел молодую женщину, которая гнала вверх шесть ишаков, груженных мешками с мукой.

Она уже добралась до поворота дороги, как вдруг один из ишаков заартачился и встал как вкопанный. Женщина и била его, и толкала, но все попусту. Хайдар-ата подошел к ней. Увидев его, женщина сконфузилась и опять стала шлепать ишака, приговаривая: «Ах ты, холера тебе в бок, бензин, что ли, у тебя кончился!» Потом она взглянула на старика и добавила: «У нас ведь в колхозе две машины были, не то чтобы одна...» Хайдар-ата помог ей сломить упрямство ишака и спросил, где находится колхозная чайхана. Женщина показала ему в сторону мельницы, немного выше ее по течению реки.

Чайхану Асроркул расположил очень живописно. Она стояла на высоте двухэтажного дома над уровнем речки, которая шумно катила свои воды где-то далеко внизу. Здесь, в тени огромной чинары и двух карагачей, были размещены несколько супа, на каждой из которой могли сидеть по четыре-пять человек. Между супа были разбиты цветники.

Хайдар-ата понюхал кустик душистого райхона и стал отламывать для себя веточку. В это время кто-то закричал: «Эй, эй, что ты делаешь!» Хайдар-ата оглянулся. В беседке стоял улыбающийся Асроркул.

— Однако молодец ты все-таки, Асроркул,— сказал Хайдар-ата, засовывая сорванную веточку райхона себе под тубетейку.— Ты в жизни никогда не притрагивался даже к самоварному крану, а такую чайхану отхватил, что самым завзятым чайханщикам в пример можно поставить. Но где же у тебя чаевники?

— Чаевники мои приходят вечером, сейчас все в поле... Иди сюда,

присаживайся.

— Я не потому пришел, что ты наказал старухе, я явился сам по себе. Хотел у тебя спросить о двух вещах. Первое дело такое: с чего ты вдруг вздумал стать чайханщиком да еще разругался из-за этого с председателем? А теперь вот осмотрел я чайхану и не ошибусь, если скажу, что ты полюбил это дело.

— Понравилась тебе чайхана?

— Понравилась.

Асроркул вдруг увидел мальчика, ехавшего верхом на лошади по другой стороне речки, и замахал ему руками. Мальчик в ответ отрицательно махнул рукой. Хайдар-ата заметил, что Асроркул нервничает.

— Это что за мальчик?

— Помощник мой. Я его послал в Бешсерка. Один тамошний джигит, Абдумаджидом его зовут, с фронта вернулся раненый. Вот уже дней пятнадцать как я бьюсь и никак не могу затащить его сюда. Два раза я за ним посылал, да, видишь ты, жена не согласилась пустить его: «Слаб он еще, говорит, того гляди, надорвется». Он в армию ушел на двадцать шестой день после женитьбы... Не знаю, какую причину она нашла сегодня.

Хайдар-ата с недоумением спросил:

— А что ты с ним хочешь делать? Разговор, что ли, у тебя к нему есть какой?

— Да нет, у него ко мне есть разговор, а у меня к моим чаевникам... Ты помнишь, как мы заставляли покойного Уста Мумина читать нам по ночам старинную книгу о прошлых войнах. И ведь как занятно нам было слушать всякие рассказы. Так разве не интереснее послушать сейчас рассказы о нынешней войне, от которой весь мир ходуном ходит? Каждый такой джигит, который побывал на фронте, это, брат, тебе целая книга. Поэтому я, как только услышу, ч\*го кто-нибудь в нашем районе приехал с фронта, сейчас же тащу ^го сюда.

Тем временем мальчик переехал через мост, привязал лошадь на берегу сая, а сам поднялся наверх. Он поздоровался с Хайдаром-ата и протянул Асроркулу записку. Асроркул вслух прочитал ее:

— «Уважаемый Асроркул-ата! Я вчера хотел приехать сам, но из города нагрянули гости. Сегодня мы хотим поехать в Карашаар. Будем завтра вечером вместе с гостями в вашем распоряжении.

Ваш сын Абдумаджид».

Асроркул чуть не задохнулся от досады, читая записку.

— Нельзя разве было ему сразу сюда приехать вместе с гостями? Он и завтра меня надует. Ну, что за дела у него в Карашааре? Нет, видно, если я сам к нему не поеду, ничего не выйдет. Ты, сынок, займись-ка газетами и журналами и приготовь все к вечеру. Хайдар, давай съездим вместе, часа за полтора доедем туда.

Хайдар-ата ехать отказался, и Асроркул отправился сам. Переехав через мост, он выбрался на большую дорогу, огрел лошадь камчой и скрылся в низине между буграми. Хайдар-ата молча наблюдал за желтоватой пылью, медленно клубившейся по дороге вслед за всадником. Мальчик сказал:

— По правде говоря, вам стоило съездить, папаша, Бешсерка тоже местечко неплохое.

— Ты сам оттуда?

— Нет, я здешний, ультарминец.

— Родители есть?

— Есть. Отец командир, сейчас на фронте.

— Учишься?

— Кончится война, поеду в Москву учиться на агронома. Сейчас помогаю пока вот старику: читаю вслух колхозникам газеты, книжки. Вы ведь, Хайдар-ата, товарищ нашего старика, а? Старик о вас как-то говорил на собрании.

Хайдар-ата смутился: что бы это мог Асроркул говорить о нем? У мальчика спрашивать было неловко.

— Асроркул разве умеет говорить на собраниях?

— Ого! — сказал мальчик. — Прошлый год председатель списки составлял на стариков, которые годятся для легкой работы, а Асрорбобо не записал. Вот он тогда собрал всех стариков, которых в список не включили, и давай с ними собрание проводить. На этом, значит, собрании он в первый раз и стал говорить речь. Да с чего начал-то: сейчас, дескать, если валяется где-нибудь на задворках ржавое колесо от трактора, и то человека зло берет. А у нас, если председатель сказал, что мы на работу не годимся, так выходит — мы все должны сидеть на месте, как куры какие-нибудь в пыли, так, что ли? После речи Асрорбобо на том же собрании старики взяли шефство над комсомольскими бригадами. А сам Асрорбобо сперва наладил эту вот чайхану, а потом еще много сделал. На районном слете передовых бригад секретарь райкома его здорово похвалил: у нас в районе, мол, Асроркул-

ата самый видный агитатор,— вот что он сказал.

В этот момент пришел младший сын Асроркула Абрар, спросил, где отец, и сказал, что в дом к ним приехали гости. По его словам, выходило, что гости эти как раз и были Абдумаджид с людьми, приехавшими к нему из города. Хайдар-ата поплелся обратно. В крытом проходе двора он встретил жену Асроркула, которая спросила у него, где муж. Поведение ее показалось Хайдару-ата странным, и он пристально посмотрел ей в глаза. Старуха была бледна как полотно, глаза у ней припухли и покраснели, губы дрожали. Хайдар-ата остановился.

— Асроркул уехал в Бешсерка. Но что тут случилось?

Старуха, закрывая губы углом кисейной косынки, уставилась в землю и с трудом проговорила:

— Абдумаджид приехал...

— Ну и что?

— Не говорите старику...

— Что не говорить?

Старуха только горько заплакала в ответ. Хайдар-ата, убедившись, что от нее ничего не добьешься, поспешно направился во двор. Там, на супа, сидели трое гостей; они поднялись с места и шепотом, как будто рядом лежал тяжелобольной, поздоровались с Хайдаром- ата. Старик обратил внимание на молодого джигита в военной форме: лицо его было красно от смущения.

— Вы Абдумаджид? — сказал Хайдар-ата.— Вы написали письмо Асроркулу, что приедете завтра, и он отправился вас искать. Он хочет, чтобы вы выступили перед колхозниками.

— Вот как? Зря он себя утруждает. Мы ехали в Карашаар, и гости мои предложили заехать по дороге к старику, повидаться.

Хайдар-ата взглянул на старуху, сидевшую у калитки. Абдумаджид покраснел еще больше и тихо сказал:

— Дал я тут маху большого, не сообразил.

— А что?

— Они, оказывается, не знают, что Едгорбай... погиб, а я прямо с места в карьер вздумал утешать старуху.

У Хайдара-ата сердце упало, спина сразу взмокла от холодного пота. С минуту он помолчал, не зная, что сказать, затем спросил:

— А верно это?

Абдумаджид не ответил на его вопрос.

— Дело прошлое, тут уже не поможешь. Не говорите Асроркулу

ничего. Старуха тоже не хочет, чтобы он знал. Бойтся, что он не выдержит удара.

Подошла старушка и присела на край супа.

Все молчали. Прошло немало времени, пока старушка заговорила:

— Сколько обид натерпелся от меня Асроркул... Оказывается, он так делал потому, что письма перестали приходить.

Гости поднялись, чтобы уйти, каждый сказал хозяйке несколько слов в утешение, хотя и знал, что никакие слова не могут помочь. Хайдар-ата повел гостей в чайхану.

...Проводив гостей, Хайдар-ата остался в чайхане. Он расположился на супа, посреди большого цветника, и сидел молча, поглядывая на дорогу.

Вскоре приехал Асроркул. Как ни старался Хайдар-ата казаться спокойным, Асроркул заметил что-то неладное.

— Ну, тебе как будто скучно, я вижу,— сказал он.

— Нет... Тут приходили гости.

— Встретил их по дороге. Завтра придут, это уж наверняка. А теперь пойдем домой.

Хайдар-ата боялся встречи Асроркула с его старухой. Он прибегнул к уловке.

— Постели одеяло на этой супа и давай посидим немного... Если бы кто-нибудь спросил у меня: «Чего ты хочешь? Хочешь провести остаток жизни в путешествии по белу свету или просидеть здесь?» Я нисколько бы не задумался и сказал бы ему: «Давай мне лучше эту супа».

Слова друга пришлись по душе Асроркулу. Он расстелил на супа одеяло, полил землю для прохлады и пригласил Хайдара-ата.

— Ну вот, располагайся! Раз эта супа так пришлась тебе по вкусу, то посидим тут до обеда... Да, к слову сказать, ты ведь спрашивал меня, почему мне понравилось быть чайханщиком, а я тебе так и не ответил.

— Можешь теперь не объяснять. Знаю сам...

— Понял, почему мне нравится чайхана?

— Понял. Эти цветы выросли из того огня, который горит у тебя в груди. Ругай меня, я лодырь и шалопай! Ругай меня, скажи, что я ленивая курица, а не человек!

Асроркул раскатисто захохотал. Он решил перевести разговор на другую тему, чтобы вывести и себя и Хайдара-ата из неловкого положения.

— Ты у меня хотел спросить две вещи,— какая же вторая? Хайдар-ата, говоря о двух вещах, имел в виду письма Едгорбая. Сейчас он растерялся и не знал, что сказать.

— Второе... теперь это уж твое дело. Раз от Едгорбая нет писем, пожалуй, это хорошо, что ты так утешаешь старуху... Может быть, еще и придет письмо.

Асроркул стал молча вглядываться в белые как снег мелкие облака, легкие тени от которых скользили по далеким изумрудно-зеленым холмам. Это продолжалось довольно долго. Потом старик приготовил чилим и закурил.

— Сколько времени нет писем? — спросил Хайдар-ата.

— Давно.

Хайдар-ата, не поднимая головы, быстро взглянул на друга. Лицо Асроркула показалось ему еще более загоревшим, потемневшим.

— Придет еще письмо, ты, друг, того... не томи себя всякими мыслями.

У Асроркула вдруг покраснели веки, и он улыбнулся какой-то деланной улыбкой.

— Какими там еще мыслями? Не на охоту ведь поехал Едгорбай, а на войну!.. Ты только старухе не говори, а я тебе всю правду скажу. Смотри не проболтайся, она не снесет... Я получил черное письмо.

Хайдар-ата на секунду задумался, не зная, говорить ли о том, что старуха уже знает об этом.

Асроркул спросил:

— Ты что, слышал разве?

Хайдар-ата решил ничего не говорить. Он понял, что горе одного из стариков еще больше усилит горе другого.

— Слышал в кишлаке, да не поверил... А верно это?

Асроркул, не отвечая на вопрос, стал приглаживать свои брови пальцами.

— Крепись, друг, горем да плачем тут ничего не сделаешь,— пересилив себя, проговорил Хайдар-ата.

— Я не плачу! Не будет у меня слез до тех пор, пока не обниму собственными руками его могилу и не приложу землю от нее к своим глазам...

Абрар пришел звать к обеду. Асроркул при виде сына постарался изменить выражение лица, и пока они дошли, на нем не осталось и следа печали.

Старуха двигалась проворнее, чем обычно, и больше обычного говорила. Асроркул, вытирая руки полотенцем, испытующе взглянул на нее.

— Так-так, душенька моя, опять плакала?

На лице у старухи мелькнуло что-то вроде улыбки, но она сейчас же отвернулась и стала скрести котел шумовкой.

— Кроме как о слезах, тебе не о чем говорить, видно! — отрезала она с раздражением.

Однако, когда она подала обед, в глазах у нее были слезы. Поставив блюдо перед стариком, она сказала:

— До чего едкий дым от этих дров, ну прямо сил моих нет!

— Садись с нами,— сказал Асроркул, кладя ломтик редьки в рот,— нам едкого дыма видать не пришлось: дым едкий там, где война идет.

За обедом старуха вела себя очень беспокожно. Один раз она, желая, видимо, сдержать слезы, подступившие к горлу, набросилась на Асроркула:

— И чего это ты чавкаешь так, разве нельзя жевать, как все люди!

— Редька, моя милая, ничего не поделаешь...

— Какая тебе редька! Ты мягкую лепешку жуешь, ровно лошадь сухой клевер!

— А ты не унывай, старуха, не распускай сердце.

— При чем тут сердце? Посиди-ка тут с утра до ночи, как я!

Хайдар-ата вмешался в разговор:

— Старуха твоя верно говорит... Послушайте, дорогая моя, ваша подружка ведь как наказывала мне, чтобы я вас к ней доставил. Я здесь поживу дня три-четыре, а вас завтра свезу в наш кишлак; идет, что ли? Что скажешь на это, Асроркул?

Муж и жена быстро взглянули друг на друга. Одна и та же мысль промелькнула при этом у обоих: «А что, если ты услышишь это известие без меня, не слишком ли одиноко будет тебе?»

Хайдар-ата долго упрашивал и наконец убедил их.

Утром, когда к дому подъехала арба, старуха отозвала Хайдара- ата в сторону.

— Оставайтесь лучше с моим стариком. Не могу никак бросить его здесь одного.

— Может, Абрар вас свезет?

— У него работа. Сама-то я работать не могу да еще других буду в

такое время от дела отрывать! Арбу пришлю с почтальоном.  
И старушка уехала.

1943



## КАРТИНА

В полдень на дороге перед белым зданием с колоннами правления колхоза «Пахтакор» остановился большой жукообразный автомобиль. Был он совсем не похож на машины, которые часто появлялись здесь из города или района, поэтому сторож-инвалид, стуча костылем по каменным ступенькам, торопливо сошел с крыльца и, не решаясь подойти ближе, встал у мостика через арк. Когда пыль, густым облаком окутавшая автомобиль, наконец улеглась, дверца желто-зеленого кузова распахнулась, и из машины вышли двое: высокий, худощавый мужчина средних лет в крикливо-пестрой клетчатой рубашке и уродливых брюках-гольф и небольшого роста молодой человек с падающими на шею и уши длинными черными волосами, одетый в чесучовый костюм и черные лакированные туфли.

Молодой человек сделал два-три шага к арку и небрежно поманил рукой сторожа:

— Можно вас... Где председатель?

— Здравствуйте,— вежливо поклонился сторож-инвалид,— пожалуйста... Маджит-ака сейчас на полях.

Очевидно, только теперь молодой человек сообразил, что задавать вопросы, не поздоровавшись, неудобно, почувствовав себя неловко перед сторожем, он задумчиво потер пальцем подбородок.

— А где парторг?

— Товарищ Хатамова? Она тоже в поле.

— Телефона нет?

— Можно сказать, что и нет. Трудно дозвониться... Да вы заходите в правление... Вы из института?

— Нет.

— А... кого вам надо: дадим знать. Я сейчас...

Сторож ушел...

Когда он вернулся к машине, высокий человек в брюках-гольф, прищурившись, смотрел на колонны здания. Туда же смотрел и молодой человек в лакированных туфлях, и оба обменивались замечаниями... «Вы думаете, типично?» — «Очень!»

— Когда построено это здание? — увидев сторожа, обратился к

нему молодой человек.

- Начали строить еще до войны, а заканчивали уже без нас.
- Вы были на войне? Где вы потеряли ногу?
- В Крыму.

Вскоре пришла парторг Хатамова, еще молодая колхозница, но уже с поседевшими волосами, и пригласила гостей в свой кабинет. Она тоже сначала приняла приезжих за научных работников из института хлопководства, но, заметив странное одеяние высокого человека, поняла свою ошибку и несколько растерялась.

Гости поспешили представить друг друга:

— Один из талантливых представителей молодого поколения наших писателей, поэт Куватбек,— сказал высокий человек в клетчатой рубашке, указывая рукой на своего спутника.

— Один из лучших представителей нашей кинематографии, кинорежиссер Ганиев,— в тон ему сказал низенький молодой человек в чесучовом костюме.

Хатамова, краснея от смущения, слегка поклонилась:

— Добро пожаловать.

А минуту спустя в кабинете она свободно беседовала с гостями.

— Очень хорошо, что вы навестили нас. Колхозники любят и хорошие книги, и кинокартины, особенно молодежь. Недавно в колхозе начал работать музыкальный кружок. Есть у нас и свои поэты. Думаем построить хотя бы небольшую сцену, расширить помещение клуба... Очень кстати вы приехали. Молодежь будет рада встретиться, побеседовать с такими мастерами. Уж вы помогите ребятам своими советами.

Пришел председатель совета урожайности, а затем и председатель правления колхоза. В приоткрытую дверь кабинета то и дело заглядывали любопытные. В коридоре кто-то сказал: «Из академии».

Режиссер Ганиев нашел нужным сразу же объяснить цель своего приезда.

— Мы работаем сейчас,— медленно начал он, выбирая слова и стараясь сделать свою речь наиболее понятной,— над сценарием, то есть над планом постановки художественного фильма из жизни колхозников. По этому сценарию-плану будут производиться кино-съемки. Пришло время разрешить очень важный вопрос: какой колхоз нам снимать. Нас интересует колхоз типичный во всех отношениях, то есть такой, где все организовано и все идет как в большинстве других

колхозов нашей республики. Нам кажется, что колхоз «Пахтакор» является именно таким типичным колхозом, но в этом мы должны еще убедиться. Мы просим помочь нам в столь важном деле. Хотелось бы, чтобы вы были с нами совершенно откровенны — показали нам все самое интересное и ничего не скрывали, ни хорошего, ни плохого.

Председатель колхоза выпрямился и, улыбаясь, подкрутил кверху свои длинные усы.

— Будем очень рады, если наш колхоз окажется достойным такой чести,— ответил он режиссеру.— Скажите, что вам требуется,— все сделаем.

— Мы не будем отнимать у вас дорогого времени,— сказал поэт.— Беседу с вами отложим до вечера. А сейчас мы хотели бы осмотреть колхоз. Для нас достаточно, если вы дадите нам одного проводника.

Проводником был выделен все тот же сторож-инвалид.

Гости вышли из правления. Сторож повел их главной улицей. Среди обвалившихся дувалов, низеньких, покосившихся хижин с земляными крышами, похожими на ласточкины гнезда, встречались новые кирпичные дома, построенные по плану.

— Вот наш новый кишлак,— стал объяснять сторож.— А от всего этого,— указал он на глинобитные хижины с маленькими хомутообразными дверными лазами,— и следа бы не осталось, если бы не помешала война. Но вы вставьте в картину и те и эти дома,— посоветовал он,— а то наша молодежь скоро и знать не будет, как жили отцы.

Пересекли садик перед школьным зданием и вышли на шоссе.

По обеим сторонам дороги, обсаженной тополями, виднелись сложенные штабелями доски и бревна, красные колонки жженого кирпича, циновки из камыша и другие строительные материалы. Среди них нетерпеливо двигались люди. Откуда-то доносились звон пилы и стук топора.

— Строительная бригада,— бросил на ходу сторож-инвалид и, подпрыгивая на своем костыле, свернул под зеленую арку ворот. Отсюда открылся вид на широкую тенистую аллею, которой, казалось, не было конца.

— А это,— сказал сторож, останавливаясь на песчаной дорожке аллеи,— наша краса и гордость — колхозный сад.

Из боковой аллеи вышла молодая краснощекая женщина в белом

халате. Сторож познакомил ее с гостями.

— Вы из детского сада? Можно зайти к вам? Разрешите? — в один голос заговорили поэт и режиссер.

Молодая женщина улыбнулась, склонив голову набок, иссиня-черные тонкие брови ее чуть вздрогнули, пунцовые губы пришли в движение, и раздался мягкий грудной голос:

— Простите, дети сейчас спят, их беспокоить нельзя. Приходите попозже — будем очень рады...

Гости продолжали свой путь. Режиссер, ускорив шаги, почему-то заспешил вперед. Поэт торопливо двигался вслед за ним, но споткнулся о корень дерева и чуть не упал.

— Ганиев,— сказал поэт, догоняя режиссера,— вот я смотрю на этот изумительный сад, и мне начинает казаться, что наше детство очень дешево обошлось нашим родителям.

Режиссер не ответил.

Откуда-то появился седой садовник. Он поздоровался с гостями и повел их мимо большого водоема к высокой беседке, построенной, по его словам, одним из мастеров, которые сооружали Узбекский павильон на Сельскохозяйственной выставке в Москве. И в самом деле — беседка была построена с большим вкусом и, как видно, мастером своего дела.

В цветнике, разбитом вокруг беседки, порхали разноцветные бабочки, над водоемом носились стрекозы с длинными, прозрачными крыльями, где-то ворковали горлицы.

Старик садовник дал в руки своему ученику, худенькому и весьма учтивому юноше, большую корзину и послал его за фруктами, а сам, даже не полюбопытствовав, кто его гости и зачем приехали, познакомил их с историей сада. Он рассказал, какие растут в саду фруктовые деревья, откуда доставлялись саженцы и какого ухода требовали они, чтобы привиться на новой земле. С особым увлечением старик говорил о саженцах граната, доставленных с юга республики на самолете, и, говоря о них, подчеркивал именно это важное обстоятельство.

— Наш председатель очень деловой человек,— сказал садовник, принимая корзину с фруктами из рук быстро вернувшегося ученика,— за всякое дело берется с душой. Вот попробуйте персики. Помню, председатель дал мне машину, и саженцы персиков я доставил из самого Аккургана.

— Много дохода приносит ваш сад колхозу? — спросил режиссер,

снимая со спелого персика нежную пушистую кожицу.

— В прошлом году дал сто двенадцать тысяч рублей. Да разве в этом дело? Главный доход мы получаем от хлопка. Миллион триста тысяч получили за прошлый год. А сад — украшение нашей жизни. Ну и про фрукты не надо забывать. Не последнее дело. Во время войны мы посылали их даже на фронт. Сколько благодарственных писем получили от бойцов и командиров! Можете их сами посмотреть, — председатель хранит все письма в железном сундуке. Мне, как садовнику, тоже немало благодарностей перепало. Одно письмо получил из Ленинграда. Очень интересное письмо. Наши подарки возила туда Тупаниса. Я должен был ехать в Ленинград с подарками, да пришлось уступить эту честь Тупанисе. Ее муж погиб в тех местах. Сильно горевала она тогда. Хорошая женщина, умница. Теперь она у нас парторгом. А все-таки я жалею, что не поехал. Может быть, встретил бы своего племянника...

— Племянник ваш был в Ленинграде?

— Да, был там. Погиб он в конце войны где-то у немецких берегов.

— Моряк?

— На подводной лодке плавал. Уехал в Москву учиться, а потом оказался в Ленинграде и перед самой войной приехал в шапке с ленточками. На обратном пути повез и меня с собой в Москву, весь белый свет показать.

— Вы были в Москве? — удивился поэт и быстро вынул из кармана записную книжку и карандаш. — А ну-ка расскажите о своей поездке. Это очень интересно.

— Могло быть интересно, да не получилось. Утром приехали, а вечером племянник посадил меня в поезд и отправил обратно. В тот день началась война. Успел только посетить Мавзолей Ленина. Не случись войны, многое бы повидал. Жаль, на Сельскохозяйственной выставке не удалось побывать. Ну, ничего, будут еще такие выставки. Теперь я поеду не только смотреть, но и показать кое-что свое. У меня есть очень интересные опыты прививки. Пойдемте-ка покажу.

Старик повел гостей осматривать сад. Правленческий сторож хорошо знал, что осмотр затянется надолго, и потому спокойно оставил приезжих в саду, пообещав вернуться к ним часа через два. Вернулся он часа четыре спустя, но гости даже не заметили его опоздания. Садовник показывал им ветку винограда, привитую к стволу тутового дерева. По его словам, каждая кисть винограда на тутовнике должна вырасти

вышиной с торбу, а виноград должен получить нежность и аромат тутовых ягод. Сторож погулял с полчаса по саду и, когда снова вернулся к гостям, увидел их на опытном школьном участке. Старик, весело посмеиваясь, втолковывал что-то поэту, а тот, присев на траву и положив записную книжку на колени, быстро записывал объяснения садовода.

— Уважаемые товарищи, не пора ли двигаться дальше? — спросил сторож. — Что вы хотели еще посмотреть?

Режиссер, усмехнувшись, ответил:

— Если хватит сил, пойдем прямо на электростанцию.

— Утомил вас отец? Он у нас такой: пока не покажет всех своих чудес — не отпустит. Да еще заставит писать отзывы в большую книгу... А электростанцию осмотреть вам не удастся. Механик запер ее и ушел.

— Но он же вернется, когда мы придем?

— Нет, не вернется. Сказать правду, — если вы заночуете у нас, сегодня мы останемся без света. Тут видите, какое дело: станция-то наша оборудована в маленьком, невзрачном домике, где помещалась старая крупорушка. Ну, механик запер ее и ушел, дескать, что тут снимать. Не картина будет — насмешка! Нет, никакими силами не заставишь его теперь вернуться на станцию. С одной стороны, это даже лучше. Вот по новому пятилетнему плану у нас будет построена новая большая гидростанция. Тогда уже тандыр будем накаливать электричеством. И картину снимать уж лучше тогда... А сейчас, я думаю, нам надо пойти на ферму. Там тетушка Хафиза давно ждет вас. Она задержала дойку девяти коров, очень подходящих для картины.

Садовник освободил гостей только к вечеру и то остался не совсем удовлетворенным. Провожая их, он говорил: «Жаль, мало побыли у меня, показал бы вам еще зимний сад» — так называл он свои парники.

Гости очень устали и особенно остро почувствовали это, когда вышли из сада. Решив больше ничего не осматривать, они направились прямо в правление колхоза.

Председатель, встретив их, тотчас же пригласил в комнату, где был накрыт стол, уставленный всякими яствами. Весело бренчала крышка красного чайника, поставленного на конфорку маленького медного самовара.

— Э, не было нужды так беспокоиться, — сказал поэт, хотя уже чувствовал сильный голод.

— Какое тут беспокойство? — возразил председатель. — А ну,

прошу, мойте руки и присаживайтесь к столу... Оказывается, сегодня вы успели осмотреть только сад?

— Что же успеешь за полдня? А сад у вас действительно замечательный. Пожалуй, и дня было бы мало, чтобы осмотреть там все интересное.

За столом гости расспрашивали о знатных людях колхоза, о мероприятиях по новому пятилетнему плану и на все получали от председателя обстоятельные ответы. В разгар беседы пришла Хатамова вместе с каким-то дородным человеком средних лет и молоденькой девушкой-смуглянкой, у которой лицо и руки были почти черными от солнечного загара.

— Познакомьтесь, товарищи,— сказала Хатамова, представляя обоих,— звеньевая стоцентнеровик Кундузхон Хаитова... а это — Мавлян-ака, бригадир.

Беседа приняла еще более оживленный характер. Гости ставили вопрос за вопросом и записывали ответы. Поэт писал очень быстро и при этом часто задерживал взгляд на говоривших, словно рисовал их портреты.

Наконец, режиссер закрыл свою записную книжку и сказал:

— Нам пока достаточно, позвольте поблагодарить вас. Конечно, не мешает взглянуть собственными глазами на все, о чем вы рассказывали. Это, знаете ли, вдохновляет. Сегодня осмотр одного только колхозного сада обогатил нас весьма ценными впечатлениями. Будем надеяться, что все другое оправдает наши надежды... А теперь перейдем к тому, что должно составить в нашем фильме центральную интригу и коллизию. Как бы вам объяснить? Я имею в виду столкновение личных и общественных интересов, стремлений,— конфликт, одним словом. Мы думаем построить конфликт вокруг вопроса механизации. В отношении механизации колхоз «Пахтакор» является ведь тоже типичным и передовым, не так ли?

Председателю, должно быть, понравились эти слова. Он улыбнулся и покрутил усы, но все же возразил:

— Так-то оно так, но нельзя сказать, что мы полностью осуществили механизацию. Мы сможем это сказать, когда центнер хлопка будет нам обходиться в три-четыре трудодня. А у нас пока вот даже звено Кундузхон берется снизить себестоимость центнера в этом году только до семи трудодней.

— Прекрасно! — подхватил режиссер. — Вот Кундузхон и пойдет в

авангарде борьбы за механизацию трудового процесса. Что нам нужно? Событие. Вы понимаете, яркое событие, действие! А что должно стоять в основе действия? Конфликт, то есть столкновения на почве противоположных интересов. Мы знаем, что всякое новшество встречает обычно противодействие. Нам достаточно, если вы расскажете нам об этом хотя бы в общих чертах. Конкретно мы додумаем сами. Бывают ли у вас выступления против механизации, а если бывают, то что обычно говорят противники ее?

Стараясь скрыть улыбку, парторг Хатамова низко наклонила голову и быстро глотала чай из пиалы, а когда режиссер кончил говорить, обратилась к бригадиру:

— Ну, Мавлян-ака, что вы скажете?

Бригадир посмотрел сначала на Хатамову, потом на председателя и режиссера, а затем опустил глаза и, почесывая в затылке, проговорил:

— Гм... А где вы были, ученый человек, в тридцатых годах?

Наступило неловкое молчание.

— В наших колхозах вряд ли механизация является теперь таким новшеством, которое встречает сопротивление,— сказал, задумчиво улыбаясь, председатель,— Сейчас у нас в республике больше двухсот МТС... Ты хочешь что-то сказать, Кундузхон? — обратился он к смуглой девушке.

Кундузхон давно хотелось вставить свое слово, но она не решалась. Теперь она сразу заговорила:

— Я родилась в том году, когда на наших полях впервые появился трактор. Вот Мавлян-ака упомянул о тридцатых годах. Не знаю, может быть, тогда у нас и были люди, выступавшие против тракторной обработки земли. Но теперь, когда каждый колхозник видит, насколько механизация облегчает его труд, кто же может выступить против нее?

— Старики, например,— подсказал поэт.

— Старики? Я никогда не пахала землю на паре быков, не испытала такой муки, но старики знают, что это такое. В те времена самый высокий урожай был десять центнеров, я только слышала об этом, а старикам это хорошо известно. Уж если снимать картину, то надо снимать правду! — пылко воскликнула Кундузхон.

Снова наступило молчание, и хозяева опять почувствовали себя неловко перед гостями.

— Конечно, товарищи и сами все понимают,— тихо заговорила Хатамова,— но, как они говорят, им нужно какое-нибудь событие. Вот



они и хотят дать в картине хотя бы и выдуманное событие, но такое, которое показывало бы силу механизации. Правильно я вас понимаю?

— Вот спасибо! — обрадовался режиссер.— Вы просто выручили меня. Дело обстоит именно так.

— Но если так, —продолжала Хатамова,— вам нужно получше познакомиться с колхозом, тогда событие, соответствующее действительности и интересное для картины, появится само собой. По моему, самое важное для вас — увидеть и по-настоящему узнать наших людей. А для этого вам надо пожить здесь подольше. Как вы думаете, председатель?

— Да живите хоть месяц, хоть два, сколько вам нужно,— обратился к гостям председатель,— лишь бы картина получилась хорошей. Дело государственной важности. Разве я не понимаю.

Сумерки сгущались, в комнате становилось совсем темно. Председатель взглянул под потолок, где тускло поблескивал стеклянный пузырь электрической лампы, и покачал головой:

— Ну и человек!.. Неужели так и не даст света?

— Вы о механике? Когда я шла сюда,— снова заговорила Хатамова,— слышала, как наш сторож отчитывал мельника Сафар-али. Мельник, видите ли, пришел узнать, попадает ли его мельница в картину. А сторож и давай его стыдить: «Эх ты, есть ли у тебя совесть. Человек скрылся вон, застыдившись показать электростанцию, а ты суешься туда же со своей мельницей!» — «Но моя мельница не его пыхтелке чета! — кричит Сафар-али,— Она теперь первая в районе!» Действительно,— пояснила она гостям,— Сафар-али у нас большой специалист мукомольного дела и мельницу сумел поставить так, что теперь она дает большой доход. А мельница тоже старая. Но я не об этом хотела сказать, а об электростанции. Уже одиннадцать лет прошло, как впервые в нашем колхозе вспыхнула электрическая лампочка. Помню: сколько радости тогда было. А вот теперь, как видите, механик стыдится показывать ее вам. Я говорю об этом, конечно, только к примеру, но если подумать хорошенько, это маленький, но тоже интересный случай...

Режиссер опять раскрыл свою книжечку и стал что-то записывать.

Кундузхон явно не терпелось высказать какую-то мысль. Она наклонилась к уху Хатамовой и что-то зашептала ей, потом выпрямилась и обратилась к гостям:

— Товарищи, может быть это и неприлично, но я все же хочу

сказать: вам нужно событие, чтобы показать наш колхоз, но разве ваш приезд не есть уже событие?

Все засмеялись. Кундузхон, подумав, что она сказала что-то очень глупое, спряталась за спину Хатамовой и, вероятно, густо покраснела, хотя в темноте были видны только белки ее глаз.

— Правильно, сестрица, очень правильно вы сказали! — восторженно проговорил поэт. — Самое хорошее, самое интересное событие, — для нас, по крайней мере, — именно этот наш приезд. Поэт и режиссер решаются создать картину из жизни колхозников, с этой целью приезжают в колхоз «Пахтакор», живут здесь месяц или два...

Режиссер хлопнул себя ладонью по лбу:

— А ведь это идея, черт возьми! Именно здесь месяц или два ищут противоречий, конфликтов, столкновений — и не находят, ломают голову над тем, какое событие сделать в картине центральным и... Кундузхон подсказывает им, что все это и есть главное событие. Да ведь в этом плане можно создать колхозную кинокомедию — сам Иван Пырьев позавидует.

Опять все засмеялись и вдруг зажмурили глаза: под потолком ослепительно вспыхнула большая электролампа. Механик словно давал понять, что и он кое на что годится, если придется производить вечерние съемки.

Веселая, ставшая непринужденной, беседа о будущей кинокомедии затянулась почти до рассвета.

Гости уехали и вернулись через неделю.

Спустя три месяца начались съемки короткометражной кинокомедии.

...В полдень на дороге перед правлением колхоза «Пахтакор» остановился большой жукообразный автомобиль. Из машины вышли двое...

1947

## ТЫСЯЧА И ОДНА ЖИЗНЬ

Последние дни марта. Облака, плывущие по бездонно-голубому небу, затеяли неистовую игру с солнцем. Однако солнце, омытое клочьями облаков, выныривая будто из купели, все ярче, все горячее глядело на восходы, на все живое, еще дремавшее и не ведавшее о наступлении весны.

Миррахимов, человек щедушный, попал в больницу совсем недавно. Завернувшись в огромный, не по росту, неуклюжий мохнатый халат, сидел он у оконца и смотрел на улицу, словно мышь, которая глазеет на мир, высунув мордочку из огромной рукавицы. Вдруг он заволновался: что за чудесная погода, прямо благодать, а он, со здоровыми руками-ногами, должен сидеть взаперти и любоваться на мир из окна!..

Миррахимов хотя и был щедушен, но обладал густым и могучим басом, – не умел говорить тихо. Прибывшая сестра стала участливо расспрашивать его о здоровье, о настроении. Она стала увещевать его, мол, только терпение поможет больному излечиться от недуга, намекнув при этом на Мاستуру Алиеву, с которой всем больным стоит брать пример терпения и выдержки.

Оказалось, что Мастура Алиева, доставленная в больницу в тяжелом состоянии, вот уже восемь месяцев не выходит из палаты; все обитатели больницы уже знают о ней, и многие побывали у нее. Чувство гуманности вдруг обуяло и Миррахимова.

– Давайте навестим эту бедную женщину! Кто знает, сколько ей осталось жить на этом свете... Говорят, она совсем плоха...

– Да, ей-то очень тяжело – сказала сестра и вздохнула. – Легко ли переносить страдания целых десять лет!

Дядюшка Ходжи, лежавший на своей кровати у самого входа в палату и читавший какую-то книгу, вдруг с легкостью, не подобающей его больному и грузному телу, приподнялся и сдернул с глаз очки.

– Неужели десять лет? И десять лет болеет?

– Да, вот уже десять лет. Не прошло, говорят, и года после замужества, как она захворала, бедняжка. Не может есть: пища через горло не проходит. Пищу ей вводят прямо в желудок... Сделали ей там

такое отверстие, понимаете... Иногда сама себя питает, иногда муж.

– Муж! Да неужели у нее есть муж?

– Есть. Здесь он. Пять месяцев от нее не отходит!

Дядюшка Ходжи умолк. Наконец он произнес:

– Мало того, что целых десять лет ходил за больной женой, а теперь вот и в больницу пришел...

– И не говорите... – сказала сестра. – Он упросил врачей, и ему позволили поставить в палате кровать для него.

Дядюшке Ходжи не терпелось посмотреть – и не столько на больную, которая так упорно и терпеливо борется с тяжким недугом, сколько на беззаветно преданного ей мужа. Он встал, решительно запахнул халат, повязался кушаком и сунул ноги в тапочки.

– А ну, пошли! Видно, святые это люди, надо навестить.

Сестра побежала предупредить Мاستуру и ее мужа о предстоящем визите.

Спустя минуту мы уже шли по длинному коридору, ища десятую палату; впереди шествовал, выпятив огромный свисающий живот, дядюшка Ходжи. У входа в палату нас вежливо и почтительно встретил молодой человек с большими, искрящимися глазами, смуглый, как индус. Выразив каждому из нас свою признательность, он пригласил нас в палату. Мы вошли. В эту минуту солнце нырнуло под облака, и в палате потемнело, как в сумерки. С кровати, что стояла слева от громадного окна, вдруг послышался слабый, нет, скорее мягкий голос:

– Добро пожаловать!.. Спасибо, что пришли! Только человек придает силы человеку... большое вам спасибо!.. Акрамджан, пригласите присесть.

Солнце снова выглянуло, и мы увидели Мастуру... Перед нами лежал не человек, нет, не больной человек, а мертвец, настоящий мертвец с пожелтевшей, как пергамент, кожей, – кожа до кости. И только глаза, большие глаза смотрели на нас... Представьте себе человека, сидевшего перед гробом и вдруг увидевшего, что у покойника задергалась нога или рука, – как бы почувствовал себя этот человек? Точно так же чувствовали себя и мы, глядя на ее глаза, сверкавшие на мертвенно-бледном лице.

Молодой человек, приветливо встретивший нас, видимо, муж Мастуры, принес нам стулья. Присели только Миррахимов и я. Дядюшка Ходжи остался стоять, грузным своим телом загородив от нас Мастуру. Я придвинул ему стул и хотел было дернуть его за полу

халата, как вдруг заметил, что у дядюшки Ходжи колышется живот... Я удивился: чему бы ему так смеяться? И взглянул ему в лицо... Он стоял белый как полотно! Заметив, что дядюшку Ходжи обуял страх, сестра забеспокоилась и с тревогой сказала ему:

– Ах, дядюшка Ходжи, я и забыла дать вам лекарства! Идемте, идемте! – И она поспешно увела его из палаты.

Я забеспокоился, как бы дядюшка Ходжи, выйдя в коридор, не потерял сознание, не грохнулся на пол. Но, слава богу, обошлось.

Хотя сестра и увела дядюшку Ходжи под благовидным предлогом, но было уже поздно: Мастура все увидела. Некрасиво получилось, нехорошо. Я и Миррахимов сидели, не зная, что сказать, куда девать глаза. Я все же отважился незаметно взглянуть на больную. А Мастура, улыбаясь бескровными губами, повернулась к мужу.

– Запишите-ка, Акрамджан, в свой дневник: пришли меня навестить трое храбрецов, и один со страху удрал, а двое остались, не в силах бежать.

И она засмеялась, засмеялась сухо, отрывисто, словно ребенок.

От ее шутки, особенно от ее смеха, по спине у меня забегали мурашки, но потом мне вдруг показалось, что с лица Мастуры сошла мертвенная бледность, будто живительная свежесть, переполняющая ее глаза, передалась щекам. Миррахимов что-то забормотал было, извиняясь за дядюшку Ходжи, но Мастура оборвала:

– Не беспокойтесь, такие вещи на меня не действуют, – сказала она. – Акрамджан, расскажите-ка им историю с гробом... нет, я сама им расскажу! Так вот было это лет пять с лишним назад. Как сейчас все помню... Выпал густой снег. Лежу я вот так же, как теперь, напротив окна, Акрамджан сидел и, кажется, штопал себе носки... Вдруг вижу – распахнулась наша калитка и показывается что-то красное! Смотрю, удивляюсь: гроб! Двое друзей Акрамджана тащат к нам во двор гроб! Сердце во мне так и екнуло... Ах, беда какая, думаю, неужели я уже умерла?.. Не успела я прийти в себя и сказать что-то Акрамджану, как те двое прислонили гроб к стене и вошли в комнату. Увидели они меня живую, и хватили их кондрашка, совсем как давеча вашего дядюшку Ходжи. Акрамджан тоже сидит себе и ничего не понимает... В то время мне и в самом деле было очень плохо, того гляди, ноги протяну. И вот увидел кто-то в автобусе плачущего мальчишку, подумал, что это мой братишка плачет, и пошли-поплыли слухи о моей смерти... Ну, а гроб потом сожгли в печке... Вот я и говорю, все эти страхи на меня совсем

не действуют. Они действуют на людей, которые ожидают смерти, да ведь я-то не ждала и ждать не собираюсь! Если уж на то пошло, я не верю даже, что человек может ожидать своей смерти, то есть готов совсем отказаться от своих надежд. Даже совсем больной человек, который вот-вот умрет, у которого и язык уже не повинуется, и смотрит он, как будто прощается со своими близкими... А я и это не считаю признаком смерти: нет, он не прощается, а смотрит на своих близких с надеждой, ожидает, что они скажут ему: рано, рано ты собрался сводить счеты с жизнью... ты не умрешь. Эту вот надежду я и считаю самой сильной, самой важной для человека в жизни...

Акрамджан очень радовался тому, что Мастура оживилась, беседуя с нами, но он тревожился и беспокоился за жену, как бы эта беседа не утомила ее, и всячески старался заставить говорить нас, говорил сам, чтобы дать больной передышку.

– А вы чем больны? – спросил он Миррахимова.

Тот назвал сразу три болезни.

– Ах, боже ты мой!.. – воскликнула Мастура. – В таком маленьком теле? Да как же уместились целых три болезни?

Раздался хохот. Особенно весело и заразительно смеялся сам Миррахимов, Акрамджан, с нетерпением ожидавший окончания разговора о болезнях, тот час подхватил шутку, брошенную Мастурой, и оказалось, что он на редкость остроумный человек; мы на время вовсе забыли о всяких недугах, шутили и смеялись напропалую. И когда наша непринужденная беседа неожиданно оборвалась – из-за могучего баса Миррахимова, – мы были огорчены. Врач, проходя по коридору, видимо, услышал неподобающий месту смех Миррахимова и, приоткрыв дверь, заглянул в палату. Он пристально поглядел на Мастуру и, заметив, что она утомлена, выставил нас за дверь. Акрамджан тоже вышел. Он долго и взволнованно выражал нам свою благодарность, уверяя, что любезность, которую проявили мы, навестив больную, придаст ей много сил и бодрости. Благодарность была во всем его существе, особенно в его больших, чуть увлажненных глазах. Мы не сомневались, что он готов расстаться даже с глазом, если б знал, что это доставит жене хотя бы минутную радость.

Мы вернулись к себе в палату. Дядюшка Ходжи лежал на своей кровати и, отдуваясь, прихлебывал сладкий чай. Никто не заговорил о неприятном случае: ни он, ни мы. Да и сами мы, Миррахимов и я, ни слова не вымолвили до самого вечера: мы были погружены в мысли о

Мастуре и не находили, что сказать, как выразить свои впечатления, свои чувства.

Наступила ночь. Больные улеглись. Дядюшка Ходжи уже спал и похрапывал. Миррахимов то и дело ворочался с боку на бок и, заметив, что я тоже не сплю, приподнял голову:

– У этой женщины не одна душа – тысяча и одна, поверьте! – сказал он. – Душа в ней едва теплится, как огонек угасающей свечи. А если и угаснет, то не раньше, чем зажжет другую из оставшейся тысячи! Вот эта надежда и не подпускает к ней смерть!

После долгого молчания он снова заговорил:

– А муж ее, муж-то? Я вам скажу, что и ему дана тысяча и одна молодая жизнь, но он все отдает своей Мастуре...

Мало ли, много ли прошло дней, но вот мы расстались. Миррахимов уехал к себе домой, а дядюшка Ходжи укатил на курорт.

Спустя много времени судьба снова забросила меня в эти края. Я не мог, проезжая мимо больницы, не заглянуть в нее. Расспросив сестру, я узнал, что через час Мастуру кладут на операцию. Пять месяцев отговаривали ее врачи, уверяя, что с операционного стола она уже не встанет, но ничего не помогло: Мастура решилась, дала расписку, в которой соглашалась на рискованную операцию.

Я хотел зайти в палату и проведать ее; я подумал, что мое посещение и дружеское слово придадут ей хоть немного силы и бодрости, но врачи не допустили меня к ней.

Когда наступило назначенное время, Мастура вышла из палаты, поддерживаемая с двух сторон сестрой и Акрамджаном. Однако, выйдя из палаты, она отстранила их и пошла твердым шагом, сама добралась до операционной, сама открыла дверь и скрылась за нею. Все внимание Акрамджана было сосредоточено на жене, и он не замечал меня. А Мастура хотя и увидела меня, но прошла молча: небось не узнала.

Я не стал дожидаться конца операции; мне было известно, что врачи не очень-то охотно шли на нее; мне было понятно и состояние больной; я подумал, что женщина, бесстрашно смотрящая в глаза смерти, похожа на человека, вдруг оказавшегося в тьме кромешной и запевшего, чтобы заглушить свой страх. Вечером я решил позвонить в больницу, и, честное слово, рука моя отчаянно дрожала. Но, слава богу, операция прошла удачно. Так мне по крайней мере сообщили.

Я уехал и долго ничего не знал о судьбе Мастуры. Я часто вспоминал ее и желал выздоровления и многих лет жизни этой

женщине, у которой оказалось столько сил и терпения, чья душа была прочнее железа. И когда спустя три года, я встретил Акрамджана с какой-то незнакомой женщиной, я готов был горько, по-ребячьи расплакаться.

Нигде праздники не проходит так весело, интересно и красочно, как в Голодной степи, ибо люди, съехавшиеся сюда со всех областей республики, завезли с собою свои песни и танцы. На этом празднике мне довелось побывать в Гулистанском районе, среди своих хороших друзей. Акрамджана с незнакомой мне женщиной я повстречал именно здесь, в Гулистане. У обочины дороги сидела верхом на лошади и что-то ела смуглая женщина среднего роста, стройная, – сама молодость. Акрамджан был занят тем, что затягивал подпругу своего коня. Увидев меня, он что-то тихо сказал женщине. Она ловко спешила, и оба торопливо направились к нам. И женщина, и Акрамджан поздоровались со мной, как со старым другом. Но сколько я ни силился, сколько ни пытался отогнать далекое виденье, мне это не удалось: так и стояла у меня перед глазами та больная, что медленно вышла из палаты и потом исчезла в дверях операционной. И не смог я приветствовать их так же горячо, искренно, как они меня. С Акрамджаном я еще кое-как обнялся, а женщине нехотя протянул руку.

– Вы меня не узнаете? – спросила молодая женщина и, легко нагнувшись, сорвала листок подорожника, росшего на бровке арыка.

– Простите, не могу припомнить... – пробормотал я.

Женщина откусила листок подорожника и, пожеывая, спросила:

– Ну, а теперь? И теперь не хотите узнавать?

Узнал! Узнал ее по глазам! Женщина, чьи глаза щедро дарили радостную улыбку миру, была Мастура!

Я растерялся и спросил, сознавая, что говорю явную глупость:

– Что же вы делаете в этих краях?

Она засмеялась.

– Да вот работаю, теперь у меня силы хоть отбавляй.

Мы беседовали долго. Муж и жена провожали меня довольно далеко, ведя своих лошадей за поводья. Потом мы простились, супруги вскочили на лошадей и ускакали. Я смотрел им вслед, и они казались мне орлами, парящими над раздольной степью. Когда они почти слились с горизонтом, один из всадников вдруг резко повернул обратно и поскакал к нам. То была Мастура. Подъехав на несколько шагов, она крикнула:



– Прошу вас, передайте от меня поклон дядюшке Ходжи! – и ускакала к Акрамджану, ожидавшемуся ее где-то на горизонте.

Вернувшись в город, я стал разыскивать дядюшку Ходжи, чтобы исполнить желание Мастуры. Но, увы, я узнал печальное известие: дядюшка Ходжи, оказывается, умер.

1956

## БОЛЬШЕВИКИ

Уже четырнадцать месяцев, как в кишлаке беспокойно. А до той поры кишлак сонно, словно дремавшая кошка, лежал в горах; даже о германской войне здесь, узнали только спустя два года, когда белый царь объявил мобилизацию на тыловые работы. Но и мобилизация, вызвавшая переполох всюду, для селения прошла почти незаметно, взяли отсюда только двоих: Мадраима с Нижней улицы, что за рекой, и Турсунбая, жившего по эту сторону реки, у Базарной площади; после их отъезда в кишлаке опять стало тихо.

Но четырнадцать месяцев назад сюда пришли вести: появился исполин по имени Ленин, ростом он до облаков; этот великан на прошлой неделе сбросил белого царя с трона. Народ, воспринявший известие как неминуемый приговор свыше, заволновался, пришел в движение. Весть эта дошла и до старой Адолят, которая не поднималась с постели уже два года — с тех пор как ушел на тыловые работы ее старший сын Турсунбай. Высохшая — кости да кожа — она высунула голову из кучи тряпья, служившего ей постелью, и потухшими глазами посмотрела на младшего сына Тургуна.

— Сынок, помоги мне выйти на улицу!

Тургун, мальчик лет десяти — двенадцати осторожно взял мать под руки, сопя и пыхтя помог ей добраться до супа. По улицам оживленно сновали люди, в чайхане у Базарной площади и на площади у мельницы толпился народ. На крышах домов всюду женщины, они вышли без паранджи, наскоро накинув на голову халатики своих детей. Подобного в кишлаке никогда не бывало!

К старухе Адолят заглянули несколько знакомых и, справившись о ее здоровье и выразив надежду, что теперь-то уж Турсунбай вернется, ушли. Надежда придала силы старой Адолят. С этого дня она с помощью Тургуна выходила из дому, а в иные дни сидела во дворе с утра до вечера. Если в первое время Адолят выходила, чтобы услышать новости, сулящие ей скорое возвращение Турсунбая, то теперь она ждала его самого.

Прошли недели, месяцы. Вестей от Турсунбая не было. Рассказывали, что из одиннадцати человек, мобилизованных из соседнего

Кумкишлака, вернулись восемь, но Турсунбай не возвращался. Ничего не было слышно и о Мадраиме с Нижней улицы. Но ожидание сына не утомляло Адолят; что ни день в кишлак приходили новости, и каждый толковал их по-своему; у Адолят от них голова шла кругом: она то впадала в отчаяние, словно очутилась у гроба Турсунбая, то радовалась всем существом своим, будто с возвращением сына должна наступить удивительная, доселе невиданная счастливая жизнь, и от радости она готова была выскочить из-под груды тряпья, которой была укутана.

Теперь для Адолят было мало того, что она сидит во дворе. Ей захотелось самой услышать разговоры, что вели люди; хотелось увидеть каждого нового человека, прибывшего в кишлак, встречать односельчан, привозивших новости. Она не давала покоя Тургуну. Чтобы помочь матери, мальчик выпросил у соседей тачку. Завернувшись в лохмотья, Адолят садилась в нее.

— Тургун, вези меня к Базарной площади! К чайхане!

— Тургун, вези меня к мельнице!

И Тургун возил мать то к Базарной площади, то к мельнице, ставил тачку в сторонку; тряся головой на тоненькой шее, старушка трепыхалась, словно птенец ласточки, почуявший приближение матери, и тревожно оглядывала людей, стараясь уловить их разговоры.

Так проходили дни, месяцы.

Последние полтора месяца были особенно беспокойными и тревожными. Беспокойство и страх овладели людьми с того самого дня, как появилось слово «большевик». В чайхане у мельницы о большевиках рассказывали одно:

— Большевики говорят, что земля принадлежит тому, кто сеет, вода — тому, кто поливает.

В чайхане у Базарной площади твердили другое:

— Большевик — это неверный, он отнимает у мусульман их веру.

Об этом держал проповедь мулла Саиддазориддин; во время его речи с нижних нар вдруг послышалось:

— Благочестивый, вера живет в душе человека... А как большевики могут отнять то, что находится в сердце?

За муллу ответил сидевший позади него бай Мирвали.

— Большевики не будут считаться, что вера твоя живет в душе, они пошлют тебя на завод! Введут тебя в одну дверь, а после гудка выведут в другую дверь завода кяфиром! — угрожающе прикрикнул бай.

Староста Сотиболди, угрюмо глядя на человека, задавшего вопрос, добавил:

— Большевик — это кяфир, исчадие завода!

Спустя какое-то время в кишлаке пошли слухи, будто в Ташкенте и Коканде появились большевики, а отчаянный головорез Эргаш провозглашен ханом, чтоб уничтожить их; еще через неделю появились вести, что в Коканде началась война. О большевиках за это время ползло много слухов, наводивших ужас на жителей кишлака, особенно на женщин. Адолят беспрестанно плакала и целых три дня не выходила из дому. В эти дни она радовалась, что ее Турсунбай не вернулся.

Но на четвертый день старуха снова была на площади у мельницы и узнала, что головорез Эргаш бежал. Вечером того же дня староста Сотиболди через глашатаев собрал народ у Базарной площади и держал длинную речь против большевиков. В заключение он сказал:

— Каждый правоверный, который надеется обрести блаженство в раю, с наступлением темноты должен выйти к железной дороге, чтобы разрушить ее.

Мулла Саиддазориддин балгословил поход как священную войну за веру.

Когда стемнело, староста послал к железной дороге жителей, и возглавил их Миржаббар — он же полицейский стражник кишлака. Сам староста намеревался ийти туда, собрав всех, кто еще останется в селении. В полночь, едва набрав человек восемь, он повел их к железной дороге; однако там никого не оказалось, ни одна гайка не была тронута, а неподалеку от моста через реку, на поблескивавших от лунного света рельсах лежал на спине поперек дороги какой-то человек.

Труп! То был труп стражника Миржаббара!

Староста отпустил людей; вернувшись домой, он нагрузил на трех лошадей самое необходимое из своего имущества и на рассвете с семьей покинул кишлак.

Наутро кишлак был взбудоражен новостью: убит стражник Миржаббар, староста Сотиболди бежал...

Не успели люди освоиться с этими происшествиями, как грянуло еще одно событие: в полдень у железнодорожной станции поднялась ружейная пальба, застрекотал пулемет.

— Это большевики! Кто им покорится, они пошлют на завод, а кто не смирится, отравят...

Адолят, никогда не слышавшая пулеметной стрельбы, эту весть о

большевиках приняла за чистую правду и в страхе зашептала предсмертную молитву.

Староста Сотиболди вел на кишлак курбаши Эргаша, чтоб отомстить за кровь стражника Миржаббара, но у железнодорожной станции они наткнулись на большевиков.

Стрельба, длившаяся более двух часов, стихла. До захода солнца два раза бросали клич, чтобы народ бежал из кишлака, и люди, не зная, кто придет в селение, бежали, облепив плоскогорье, словно муравьи; в первый раз жители успели перевалить за плоскогорье, во второй раз они вернулись с полпути. А когда бросили клич в третий раз, люди заколебались. На этот раз стало известно наверняка: в кишлак направляются какие-то люди; с Базарной площади жители увидели на западном гребне плоскогорья силуэты пяти верховых.

— Большевики! — обронил кто-то.

Весть эта мгновенно облетела кишлак. Адолят, сидевшая в тачке у дверей дома, едва услышав о большевиках, едущих в кишлак, приказала сыну:

— Тургун, вези меня за гору!

Плача и причитая, она погнала мальчика в горы.

Тургун, чуть ли не упираясь в землю носом, тащил тачку; не одолев и половины пути, он выбился из сил.

По склону карабкались люди, которые вышли из кишлака раньше Адолят и после нее. Тургун, напрягая все силы, протащил тачку еще несколько сажень, но потом с решительным видом остановился, сел на землю. Адолят стало жалко сына.

— Ладно, не надо, сынок. Умрем, так умрем невинной жертвой за веру,— И она с видом человека, покорившегося своей участи, взглянула на кишлак: там, на Базарной площади толпился народ и происходило что-то непонятное.

Прошло сколько-то времени,— Адолят не знала сколько,— и вдруг она заметила всадника, скакавшего к ним вверх по склону. Адолят в страхе раскрыла глаза, судорожно глотнула воздух и душераздирающе завопила:

— Тургун, это он! Сейчас большевик будет здесь! Чтобы он ни сказал, читай предсмертную молитву!

Всадник остановился шагах в ста пятидесяти от беженцев и, не сходя с разгоряченной лошади, сложил ладони у рта, крикнул:

— Люди, возвращайтесь! Начальником у большевиков — наш

Мадраим!

Верховой несколько раз повторил клич и ускакал обратно. Помолчав несколько минут, люди поползли вниз по склону, к кишлаку. А тачка Адолят как покатилась, так и остановилась лишь у самой Базарной площади. Людей здесь собралось видимо-невидимо, пришел стар и млад, женщины и мужчины, над толпой стоял говор, крики... Голос муэдзина, призывавшего верующих к молитве в мечети, на холме за чайханой, потонул в этом гуле. Адолят жалела, тысячу раз жалела, что Мадраим, начальник большевиков, уехал до ее прихода, а ведь он был в чайхане, пил там чай. Оказалось, за это время он порассказал людям о Ленине, о советской власти, о земле, о воде; уезжая, он передал привет от Турсунбая его матери, брату, родственникам и всем, кто помнит его; по словам Мадраима, Турсунбай жив-здоров, служит в Коканде в рядах красных воинов; в скором будущем он обещал навестить родных.

Адолят, проклиная себя за то, что не застала Мадраима, вернулась домой; она задремала, не слезая с тачки. Тургун, обрадовавшись, что мать заснула, побежал на Базарную площадь. Здесь было многолюдно, как в ночной базар во время поста.

Поспав с часок, старуха проснулась. Ярко светила луна. С Базарной площади доносились радостные и чистые, как звон колокольчиков, голоса. Адолят стало не по себе, точно ее обошли на большом пиру, ей захотелось побывать там, где все веселятся, но старая не решилась окликнуть Тургуна, подумав, что сын устал и спит; она осторожно выкарабкалась из тачки и, держась за дувал, вышла на улицу. С Базарной площади все доносились звонкие голоса и смех; там виднелись огни множества светильников. Адолят с минуту прислушивалась, потом, радуясь, как ребенок, сделавший первые самостоятельные шаги, осторожно, но торопливо ступая, направилась навстречу радостным и звонким голосам.

1957

## КЛЕВЕТА

Я сидел с отставником-капитаном милиции в чайхане, мирно беседуя за пиалой чая. Отодвинув пиалу, капитан нагнулся ко мне и, понизив голос, сказал:

— Следите за той узенькой улочкой. Сейчас там появится человек. Обратите на него внимание. Потом я расскажу вам о нем.

И действительно, вскоре я увидел человека в черном плаще, черной шляпе, черных очках. Он имел картинно зловещий вид. Черная одежда и черные очки делали его лицо особенно бледным и каким-то неживым. Казалось, пририсуй под подбородком две скрещенные кости, и готов череп, какие изображают на высоковольтных столбах.

Человек постоял с минуту и, хотя капитан так и не взглянул на него, перешел на нашу сторону улицы. Он сел почти рядом, но капитан не поднял головы. Тогда человек встал и демонстративно продефилировал перед нами. На нас пахнуло сыростью и запахом несвежего мяса. Он раз за разом оборачивался в нашу сторону, затем, видно, отчаявшись привлечь наше внимание, вышел на улицу и исчез в темном проеме ворот.

Капитан, помолчав, рассказал мне о черном незнакомце.

— Я знаю этого типа уже более четырех лет. Все эти годы он норовит затащить меня в укромный уголок, чтобы нашептать очередную клевету...

Я видел, что капитану доставляют мало радости воспоминания. Но он уже не мог от них избавиться.

Года четыре назад из разных районов города в милицию посыпались письма за разными подписями, но без обратных адресов.

Во всех письмах — тягчайшие обвинения против тогдашнего секретаря Союза охотников. Подтвердись хотя бы одно, секретарю не миновать ареста и суда. Однако сколько милиция не проверяла, письма оказывались чистойшей липой, их автор не обнаруживался. Но все же волей-неволей пришлось обратить внимание и на секретаря.

— Вот в те дни,— сказал капитан,— и заявился ко мне этот тип. Он начал с рассказа о своей кристальной честности, говорил много-словно и нудно, а заканчивая, неожиданно шепнул: «Есть слухи, что

секретарь Союза охотников покупает пистолеты у неизвестных личностей. Я, правда, не слишком-то верю в эти рассказы, однако полагаю своей гражданской обязанностью поставить вас в известность».

Я поблагодарил его. С этого и началось наше личное знакомство.

Слух, разумеется, был чистейшим враньем,— ни у кого никаких пистолетов секретарь Союза охотников не покупал. Поразмыслив и все взвесив, мы пришли к убеждению, что недавний посетитель имеет непосредственное касательство к письмам без обратных адресов.

Догадавшись, что милиция ищет их автора, он забеспокоился и сам прибежал к нам: «Вот, мол, глядите, какой я: если у меня есть что сказать, то являюсь собственной персоной, а не сочиняю письма». Хитрость не ахти какая хитрая. Прием нам достаточно известный.

Капитан перевел дыхание.

— Ну, а какую цель преследовали эти кляузы? Чего он добивался, распространяя клевету? Имейте в виду, клевета никогда не бывает бескорыстной, она никогда не ведется «по велению сердца». Чаще всего ее диктуют честолюбие и карьера. Так обстояло дело и на сей раз.

Не составляло больших усилий докопаться до цели... Вы, конечно, знаете, что существует разновидность людей, которые если и продвинулись с младенческих лет, то отнюдь не в лучшую сторону. Они не приобрели ни знаний, ни специальности, ни навыков труда. В них так и не пробудилась совесть. Но однажды поглядев вокруг, они замечают, что все работают, чего-то добиваются, а если и смотрят на них, бездельников, то не иначе как с презрением. И тогда начинается погоня за наживой, за положением, авторитетом. А как все это заполучить? Лишь одним способом — за счет других. Одни становятся ворами, другие — клеветниками. Одни норовят залезть в карман, другие — украсть чужое положение, чужую славу, на худой конец — чью-то должность.

В поисках удовлетворения наш знакомец открыл в себе «великий талант». Он метнул нож в курицу, которая клевала семена дыни, и угодил прямо в голову. Курица, задрыгав ногами, испустила дух. В тот же день он, одолжив денег, купил ружье, а на следующий — подал заявление в Союз охотников... Когда секретарь Союза, у которого не было правой руки, выписывал ему членский билет, у него созрела мысль: «Почему бы мне не занять эту должность? Если секретарь справляется с ней, имея одну руку, неужто я не справлюсь с двумя?»



Обратите внимание, люди такого сорта, не умеющие ничего делать, кроме как сочинять пасквилы, считают себя не хуже других, мастерами на все руки. Они презирают труд, талант, искусство: «Подумаешь, я могу не хуже...»

Вернувшись как-то с охоты и не подстрелив даже воробья, он почувствовал, что одной лишь честолюбивой мечты ему мало. Он должен действовать. Гнусная мыслишка подсказала направление действий: «А не предатель ли секретарь? Может, он сам себе прострелил руку, чтобы сбежать с фронта?»

Очень характерный для подлеца ход мыслей. Своими собственными думами он охотно наделяет другого. Думы эти для него настолько органичны, что он начинает верить, будто они свойственны другому.

Наступил час активных шагов. Атака велась по трем направлениям.

Во-первых, надо прослыть незаурядным охотником. Каждое воскресенье вечером, закинув за спину ружье, нацепив на пояс купленных на базаре куропаток, прихватив с собой борзую с шелковистой черной шерстью, он торжественно шествовал по центральной улице.

Во-вторых, чтобы очернить секретаря Союза охотников, он выдумывал всевозможные нелепости и пакости и распространял их, нашептывая, излагал в письмах, направленных в милицию.

В-третьих, по всякому поводу и без повода льстил председателю Союза охотников. Он называл его «учителем», на свадьбе одного из членов Союза, забыв о женихе и невесте, предложил тост за здоровье «учителя» и речь во славу председателя закончил словами: «Убитая его пулей куропатка может гордиться своей смертью!» Лесть — неперенный спутник клеветы. И такой же неумеренный спутник. Обливая кого-то помоями, клеветник перед другим стелется ковровой дорожкой...

Прошло полтора года. Секретарь Союза охотников скоропостижно скончался. Наш герой рвал на себе волосы, бился головой о стену. Он шагал впереди траурного шествия, неся подушечку с орденами покойного. Произнес речь на могиле: «Дорогой друг мой, спи спокойно, я продолжу твоё дело...» И, разумеется, разрыдался.

На другой день он занял стул умершего. С утра до ночи перевозносил своего предшественника с таким же пылом, с каким недавно поносил его. Так продолжалось в течение недели. По мере того как люди привыкали к новому секретарю, его слезы постепенно высыхали. А

когда был подписан приказ о назначении, высохли окончательно.

Начался новый этап деятельности — осуществление цели. Шкуры волков, убитых другими, сдавались им на свое имя, затевались свары между охотниками, а новоявленный секретарь выступал заступником каждого, миротворцем. Наконец, почувствовав себя достаточно уверенно, он осмелел и возмечтал о дне, когда произнесет речь на могиле председателя и пообещает «продолжить его дело».

Но председатель, хоть и был немолод, отличался завидным здоровьем. Его не подорвала и война, когда он партизанил в белорусских лесах. Судя по всему, он не намеревался умереть ранее ста лет.

Ах, он не желает умереть сейчас? Пусть пеняет на себя!.. И посыпались письма в милицию на председателя. Опять разные подписи, опять без обратного адреса. Между тем среди охотников, до тех пор живших вполне мирно, начались раздоры, обиды...

Капитан сплунул. Ему явно надоело копаться в этой истории. Но взялся за гуж, не говори, что не дюж. Надо было досказывать до конца. У капитана уже не было иного выхода. Да и меня разбирало любопытство: чем же это все завершится.

— В те дни,— продолжал капитан,— он заявился ко мне домой. Он, видите ли, прослышал, что у меня родился внук, и пришел принести поздравления. Но ему надо было не только принести свои поздравления. Выбрав удобный момент, он зашептал мне на ухо: «Вы помните, наш секретарь скоропостижно скончался? Есть слухок, что к его смерти причастен председатель. Я не верю этому ни на грош, но считаю долгом совести поставить вас в известность. Тем более что есть слухи, будто председатель оговаривал секретаря, утверждал, будто тот покупал у неизвестных лиц пистолеты».

Это уже, как видите, двухэтажная клевета. Собственные наговоры приписываются другому. А этот другой намечается в очередные жертвы.

Миновало несколько месяцев. Семена, брошенные склочником, дали всходы. Охотники невесть в чем обвиняли друг друга, жаловались друг на друга. Разгорелись страсти, ссоры, ругань... Однако более зоркие, понявшие причину скандалов, вывели мерзавца на чистую воду. Выяснилось, что охотник он — липовый, зато неплохой комбинатор и оборотистый делец. Клеветник отбивался изо всех сил, не жалея ни слюны, ни чернил. Он пустил в ход политические обвинения. Они всегда в запасе у профессионального клеветника. Он

бегал по инстанциям, обвинял, жаловался, изображал из себя жертву борьбы за справедливость, строчил бесконечные письма...

В один из дней, когда бурное собрание охотников затянулось за полночь, участковый милиционер, обходивший свой участок, заглянул в зал и увидел, как несколько человек, взяв кого-то за руки и за ноги, раскачали и выкинули на улицу. Участковый поспешил на помощь пострадавшему, но того и след простыл. Узнав, что это был секретарь-клеветник, участковый успокоился.

Прошло около года; о злополучном секретаре Союза охотников — ни слуху ни духу. За это время я ушел в отставку, а месяц назад скончалась моя теща. Когда опускали гроб в могилу, я почувствовал на плече чью-то руку. Оглянувшись, увидел знакомую физиономию исчезнувшего было кляузника. Он выразил свое сочувствие. Рассказал, что работает могильщиком на этом кладбище. И, отозвав меня в сторону, зашептал: «А знаете, председатель махаллинской комиссии похоронил свою мать рядом с Касымом-ишаном...» И тут же сообщил мне, что давно мечтает служить в милиции, в славных органах охраны порядка и просит содействовать ему — ведь мы же старые знакомые. Я объяснил, что ушел в отставку и ничем не могу ему помочь. Но он не хотел слушать и посулил прийти. И теперь, как видите, пришел...

Я спросил капитана, почему надо делать секрет из попытки поступить на службу в милицию, к чему весь этот маскарад, таинственное появление.

Капитан засмеялся:

— Он всегда норовит сделать дурное, напакостить людям. И того же ждет от них. Жизнь клеветника не всегда сладка. Он сам пребывает в вечном страхе, таится, скрытничает. Он и жует и глотает, оглядываясь. Вы не заметили, как он тогда стоял на улице? Точно испуганная курица. Втянув голову, пугливо озираясь вокруг. Словно удивлялся, что его никто еще не стукнул.

В это время из ворот снова показался наш герой.

— Видите,— тяжело вздохнув, произнес капитан,— придется сходить к нему. Иначе до вечера будет там торчать.

Я тоже встал и, прощаясь с капитаном, спросил:

— Зачем вы возитесь с ним?

Уже в дверях капитан мне ответил:

— Это насекомое нельзя упускать из виду. Оно способно принести людям немало зла. Лучше быть начеку, знать объекты-жертвы,

которые он намечает.

Когда капитан перешел улицу, человек в черных очках скрылся в воротах.

*1960*

## СТРАХ

Ничего-то вы, доченьки мои,  
не знаете о бывлой женской доле,  
а рассказать вам — н не поверите!..

*Матушка Турахон<sup>2</sup>*

Вот уже две недели бушевал колючий ветер поздней осени, завывая в голых ветвях деревьев, свистя под карнизами домов, стучась в плотно закрытые двери и окна... В такие вечера люди становятся молчаливыми и тихими, как овечки, сбиваются в группки и сидят тихо, чего-то ожидая.

Все семь жен Алимбека Додхо собрались вокруг сандала в комнате самой старшей из них, Нодирмохбегим. Додхо после молитвы вернулся почему-то не в духе. Все жены при виде его вскочили. Одна сняла с его головы чалму, другая почтительно протянула руку к его чекменю, третья приготовилась стягивать с ног ичиги... Самая младшая, Унсиной из Ганджиравона, всего пять месяцев назад ставшая жилицей пышных хором Додхо, поднесла ему кальян. Только раз, но зато долго и протяжно, потянул Додхо из кальяна и, даже не пожелав позабавиться проказами своей любимицы — обезьяны, прошел в передний угол, приоткрыл окно и одним глазом взглянул во двор. Ветер бесновался: то завывал шакалом, то протяжно мяукал, как кошка. На дворе была непроницаемая темень.

Плотно прикрыв окно, Додхо уселся на свое обычное место и начал перебирать четки. Пальцы его быстро и ловко пересчитывали отполированные камешки, он прислушивался к вою ветра и думал: «Как, должно быть, страшно теперь на кладбище!»

Кладбища и так неприглядны, а еще столько страшных небылиц, жутких историй рассказывают в народе про них. У любого, кто

---

<sup>2</sup> М а т у ш к а Т у р а х о н , или, как ее зовут в народе, Турахон-оёе,— одна из самых светлых личностей в истории современного Узбекистана. Первой из узбечек она вступила в Коммунистическую партию и сбросила паранджу и чачван. Вела активную борьбу за раскрепощение женщин. Встречалась с В. И. Лениным.

вспоминает в такие неуютные вечера про кладбища, особенно у таких, как Додхо, давно пережившего возраст пророка и хранившего в сундуке для себя саван,— даже на кончике языка выступает холодный пот при одной мысли... Нет, даже не о смерти, а о том, что ему предстоит переселиться туда!

Чтобы отогнать эти мрачные мысли, Додхо отложил четки и заговорил о том о сем, но женщины его не поддержали, и слова повисли в воздухе.

Вдруг порыв ветра сильно ударил в окно. Что-то, царапая стекло и цепляясь за раму, медленно поползло вниз. И все, кто сидел в комнате, не смея вздохнуть, испуганно посмотрели друг на друга. Чтобы успокоить жен, а еще больше себя, Додхо поднялся и снова приоткрыл половинку окна. От ветра, ворвавшегося в комнату, закачалась висючая лампа. Додхо высунул голову, посмотрел вниз и обрадованно проговорил:

— Циновка это! Оказывается, циновка!

Сорвавшаяся циновка почему-то напомнила ему носилки с мертвецом, которые он видел вчера, а вспомнив их на плечах людей, снова представил себе кладбище, и в его памяти ожили все страшные рассказы о склепах и мертвецах, запомнившиеся ему еще с детства. Чтобы преодолеть страх, Додхо заговорил именно о них и, скорее перед собой, чем перед женами, стал расхваливать свою неустрашимость и храбрость.

Старшая из жен, Нодирмохбегим, тоже рассказала одну историю:

— Девчонкой я еще была. Собрались как-то у нас друзья отца, полная комната гостей. Был вечер, такой же вот ветреный. Кто-то из гостей спросил: «Кто из вас может отправиться сейчас на кладбище и вонзить нож в могилу Аскара-палвана?» Один из гостей достает нож из ножен и говорит: «Я могу!» Поспорив на одного барана, смельчак отправился. Ждут друзья, ждут, а его все нет. Утро настало. Пришли к нему домой, и там его нет. Приходят на кладбище, а он лежит мертвый, возле самой могилы Аскара-палвана. Оказывается, он, бедняга, вонзил нож в могилу и нечаянно прихватил и подол своего халата.

Женщины поежились. После долгой паузы Унсиной прошептала:

— Глупый он был, этот человек. Из-за одного барана... Было бы за что погибать... я бы пошла...

Слова ее, услышанные Додхо, задели его самолюбие. Как эта девчонка смеет говорить: «Было бы за что... я бы пошла...», когда у него,

Додхо, начинают трястись колени при одном упоминании о кладбище, когда он не смог бы пойти даже в том случае, если бы ему посулили ханский престол.

И Додхо, раздраженный, начал насмехаться над ней:

— Вот так дочь мельника, а? Какова? Целого барана ни во что не ставит, видали? А сколько баранов ты бы хотела? Ей-ей, я тебе дам десять баранов. Пойдешь ты вонзять нож в могилу? Сто баранов, половину своего богатства — отдам, пойдешь?

Медленно перебирая пальцами монисто, Унсиной ответила:

— Не надо мне никакого богатства...

Эти слова Унсиной еще сильнее задели Додхо:

— А что же тебе надо?

Унсиной промолчала. Однако нельзя, невозможно было оставлять вопрос Додхо без ответа, поэтому другие жены, боясь быть избитыми за проступок Унсиной, начали дергать, шпынять и толкать ее со всех сторон:

— Отвечай же, чего молчишь?

— Язык, что ли, у тебя отнялся?!

Унсиной подняла голову, поглядела на Додхо, не отрывавшего от нее глаз, и ответила:

— Если позволите... Я вернусь в Ганджиравон... Я бы не только в одну могилу, в десять могил всадила бы десять ножей!

Все жены Додхо хорошо поняли замысел самой младшей из них, один только Додхо понял ее по-своему.

— Опять в Ганджиравон! И месяца еще нет, как ты возвратилась оттуда!

Нодирмохбегим, вытянув под сандалом руку, ущипнула Унсиной за ногу и сделала ей знак глазами: «Слава богу, он не понял! Ну и довольно об этом, помолчи!» Но Унсиной, как человек, отчаявшийся вконец, смело и безбоязненно глядя на Додхо, проговорила:

— Нет, я хочу сказать — насовсем... Если бы вы разрешили, я бы совсем уехала...

Женщины низко опустили головы, согнулись, словно тяжелая ноша легла на них, хотя дерзкие слова были произнесены одной лишь Унсиной. Но, к удивлению и вопреки ожиданию всех, Додхо не схватился за камчу, не крикнул в гневе: «А ну, покажи, где у тебя зачесалось?!» Напротив, он заговорил спокойно и даже мягко, хотя в голосе его звучал едва скрытый сарказм:

— Вот как? Ну что ж, пусть будет по-твоему.— И, немного подумав, не скрывая раздражения, он продолжал: — Но на кладбище пойдешь не с ножом, а с кумганом, и у самой гробницы святого Онхазрета вскипятишь чай, заваришь его в чайнике и доставишь сюда. Ладно?

— Ладно, ладно!—ответила Унсиной, глядя на него вдруг загоревшимися глазами.— Но... Лишь бы вы не отрелись от своих слов...

От гнева Додхо чуть не задохнулся: то, что какая-то жалкая нищенка так рвется из его почти царского дома, показалось ему невероятным оскорблением. Теперь ни у кого из его жен, даже у Нодирмохбегим, которая сидела сама не своя от терзавшего ее страха, так как была уверена, что Унсиной не вернется живой с кладбища, и у той не осталось смелости, чтобы вымолвить прощение для молодой женщины.

Длинная, седая борода Додхо затряслась, задрожал и голос:

— Хорошо, я сдержу слово! Чтобы ты успокоилась, сейчас говорю — ты мне чужая! А когда вернешься с кладбища, станешь трижды чужой<sup>3</sup>. Бери же кумган — и отправляйся!

Тут же, закрыв рукавом лицо от Додхо, Унсиной выбежала из комнаты. Нодирмохбегим поняла, ничего она не в силах сделать для спасения женщины, но хотела выбежать вслед за ней, чтобы приободрить, утешить, однако не смогла этого сделать: одним лишь сумрачным взглядом Додхо приковал ее к месту. Остальные жены одна за другой тихо, на цыпочках, покинули комнату.

Унсиной накинула на себя паранджу, надела чиммат, набрала в кумган воды и, насыпав в чайник щепотку чая, пустилась в путь. Тускло и сумрачно светила луна. Край неба походил на грудку грязно-желтых тряпок. В грязновато-тусклом свете мрачно выступали из темноты дома и сгибающиеся на ветру тополя. Порывы бесновавшегося ветра каждый раз сбивали Унсиной с дороги. Она свернула паранджу и чиммат, сунула их под мышку, и ей стало немного легче идти.

Все, что слышал Додхо про кладбища, слышала и Унсиной. Если в такую злую ночь кладбище наводило на Додхо невыразимый страх, то и на Унсиной оно наводило не меньший ужас. И все же кладбище

---

<sup>3</sup> По шариату, мужу достаточно сказать: «Ты мне чужая!» — как женщина теряет права жены. Но она может стать женой — при вторгом бракеосочетании. Если же муж трижды сказал: «Ты мне чужая!» — то разрыв окончательный.



мертвых казалось ей менее страшным, чем кладбище живых, где она жила. К тому же ни о чем другом она не думала, не мечтала, как о том, что вот завтра возвратится в свой родной Ганд- жиравон, свидится с отцом, матерью, подружками.

Она чувствовала себя сейчас совсем маленькой — девчонкой, получившей от отца праздничные деньги и отправившейся на базар за покупками, и шла быстро, почти бежала навстречу ветру. Только изредка, когда порывы ветра бывали сокрушительны, она шагала, полуобернувшись к нему. Но вот она свернула в переулок, ведущий к самому кладбищу. Сердце у нее екнуло, когда под мерно раскачивающейся старой, почерневшей от времени чинарой она увидела смутно белеющие гробницы. Перейдя мостик, над арыком и сделав несколько шагов, она остановилась. Страх сковал ее, мысли о возвращении в Ганджиравон, о свидании с родными и подружками исчезли, ей вдруг показалось, что вокруг могил и гробниц бродят призраки, закутанные в белые саваны. Ей даже показалось, что волосы у нее на голове поднялись дыбом и приподняли платок. Она невольно отступила назад, но потом, словно пытаясь убедить кого-то в своей смелости, дважды прокричала в темноту: «Мертвые — мертвы! Мертвые — мертвы!» — и ринулась вперед. Остановилась она лишь у громадного корявого ствола чинары, под которым возвышалась гробница Онхазрета.

Кумган и чайник Унсиной опустила на землю, паранджу и чиммат кинула в сторону и потом радостно подумала: «Вот и ушло большее, осталось меньшее». Но радость ее была преждевременной: все она захватила из дома, не было только самого необходимого — дров! Забыла! Мысль

о том, что надо собирать дрова на кладбище, снова заставила ее похолодеть от страха — ей показалось, что из каждой гробницы поднимается рука мертвеца, из каждой могилы раздается зов. Она снова начала выкрикивать: «Мертвые — мертвы!» — и эти возгласы несколько успокоили ее, придали ей силы. Она бродила в темноте меж могилами и гробницами, водя руками по земле, обшаривая камни, куски глины, подбирая все, что попадалось, и опускала в подол платья сухие былинки, шуршащий камыш, верблюжью колючку, которой так богаты кладбища. Не ощущая боли в окровавленных руках, Унсиной наконец развела костер. В один миг вспыхнул яркий огонь, затрещала колючка, пышно пламенея в красноватом отсвете пламени, сквозь

ключья колыхающегося на ветру ды ма из темноты выступали бугры могил. Чудилось, что они вдруг ожили, пришли в движение, словно их обитатели пытаются пробить головами крыши своих темниц.

Унсиной снова и снова уходила на поиски дров, и каждый раз, когда сухая трава с треском разгоралась, молодая женщина страшилась, что этот шум и треск огня разбудит дремлющие призраки.

Вода в кумгане закипела. Унсиной торопливо заварила чай, затоптала огонь, чтобы не занялась сухая трава на кладбище, и пустилась в обратный путь, держа в одной руке чайник с горячим чаем, в другой кумган,— шла ощупью, ослепленные ярким огнем костра глаза ее долго не могли привыкнуть к темноте. Вдруг под ней провалилась земля, и левая нога ушла куда-то вниз. Она почувствовала, как кончики пальцев ноги коснулись чего-то мягкого. Не переставая повторять заклинание: «Мертвые — мертвы!» — она гнала от себя страх, но стоило подумать, что, может быть, наступила на мертвеца, по телу ее пробежала дрожь. Унсиной рванулась, вытянула ногу из ямы, оставив в ней кавуш. Доставать его оттуда у нее уже не было сил, так и пошла она: в кавуше одна нога, в мягком ичиге — другая. Пройдя несколько шагов, она вдруг вспомнила, что паранджу и чиммат оставила возле гробницы, и остановилась. Вернуться за ними Унсиной была не в состоянии, сейчас она боялась не только возвратиться туда, но и обернуться назад: ей чудилось, будто мертвецы смотрят ей вслед, высунув головы из своих могил и гробниц. Так она и стояла, не зная, что делать дальше, как вдруг не то из гробницы, не то откуда-то сверху раздался странный голос, и через секунду на плечи ей взобралось какое-то чудовище. Чудовище протянуло к ее горлу длинные, обросшие шерстью лапы. Унсиной закачалась, как бы от сильного удара в грудь, и потеряла сознание. Очнувшись, она увидела, как чудовище, оставив ее, медленно заковыляло прочь и исчезло за гробницей. Унсиной поняла — это обезьяна. Обезьяна Додхо! Разумеется, не сам Додхо привел ее сюда, он прислал ее с кем-то из своих людей. Бог мой, есть ли еще кто на свете, кто мог бы сравниться с Додхо в бессердечии и жестокости!

Унсиной теперь несколько успокоилась: каким бы безжалостным и жестоким ни был этот человек, все же он находился где-то поблизости.

Покинув кладбище, она выбралась на большую дорогу. Пройдя полпути, Унсиной почувствовала боль в левой руке, а боль эта напомнила про кумган. Где же кумган? Ведь она несла его в левой руке! Остановившись на миг, она прижала обеими руками к груди горячий

чайник и ускорила шаги. Но, как это часто бывает во сне, ей думалось, что она топчется на месте и чайник становится все тяжелее и тяжелее.

Унсиной едва добралась до массивной двери комнаты Нодирмохбегим и с трудом открыла ее, переступив порог и сделав несколько шагов, она в изнеможении опустила на колени и поставила чайник на сандал, из носика чайника еще вилась тонкая струйка пара. И потом, словно достигнув исполнения самого заветного желания в жизни, упала и потеряла сознание.

Дремавший у сандала Додхо вздрогнул, открыл глаза и задвигал губами. Подняв голову, увидел Унсиной, и ему показалось, будто она умирает. Не отрывая от нее вытаращенных глаз, он медленно и осторожно поднялся и, словно убегая от смертельной опасности, одним прыжком перемахнул через сандал и выбежал вон.

Придя в сознание, Унсиной увидела, что лежит возле сандала, а Нодирмохбегим плачет. Правый глаз у нее распух, под ним расплылся синяк, а белый кисейный платок закапан кровью, Унсиной хотела было спросить, не отказался ли Додхо от своего обещания, но вместо этого тихо, почти шепотом, спросила:

— Что это с вами?

А произошло вот что. После ухода Унсиной на кладбище Нодирмохбегим обратилась к Додхо с мольбой сжалиться над юной Унсиной, вернуть ее домой. В ответ она получила страшный удар в лицо. Но Нодирмохбегим не стала рассказывать об этом, она только еще горше заплакала, поглаживая Унсиной по голове, прижимаясь щекой к ее щеке. Потом послала человека на кладбище за горстью земли и, когда принесли горсть земли, размешала ее в пиале с водой и протянула Унсиной:

— Испей, сердечко мое, испей. Ты испугалась... Тому, кто пережил страх на кладбище, нет лучшего лекарства, как испить воды с горстью кладбищенской земли.

Унсиной выпила мутную воду и почувствовала себя немного лучше.

— Господь бог отблагодарит вас за меня... Могу ли я теперь уехать в Ганджиравон?

— Можешь, можешь,— ответила Нодирмохбегим.— Вот придешь немного в себя — и отправишься.

В просветлевших глазах Унсиной заблестели слезы.

— Да я ничего, я здорова... До полудня совсем встану на ноги, а там можно и в путь... Только пошлите в Ганджиравон человека, отца и

матушку порадовать...

Не страшась побоев Додхо, Нодирмохбегим тут же снарядила человека в Ганджиравон.

Но Унсиной не дотянула до полудня, скончалась...

В вечерних сумерках тело Унсиной завернули в одеяло и положили на арбу. По-прежнему ревел и бесновался ветер, воя и свистя в голых ветвях деревьев.

Из ворот вышла Нодирмохбегим в парандже, с небольшим белым узелком в руках. Она присела на корточки лицом к воротам, прошептала что-то, молитвенно воздев руки, потом, согнув их в кулаки, трижды ударила о землю, словно пытаясь вогнать в нее тьму, и самого Додхо, и его богатое обиталище. Затем поднялась резким движением: «Ноги моей больше не будет здесь!» — повернулась, вскарабкалась на арбу и села в изголовье покойной.

Арба тронулась, а когда она выбралась за городские стены, навстречу попался слуга, ходивший в Ганджиравон, чтоб обрадовать родителей Унсиной...

1961

## ТЫСЯЧА И ОДНА ЖИЗНЬ

Последние дни марта. Облака, плывущие по бездонно-голубому небу, затеяли неистовую игру с солнцем. Однако солнце, омытое ключьями облаков, выныривая будто из купели, все ярче, все горячее глядело на восходы, на все живое, еще дремавшее и не ведавшее о наступлении весны.

Миррахимов, человек щедушный, попал в больницу совсем недавно. Завернувшись в огромный, не по росту, неуклюжий мохнатый халат, сидел он у оконца и смотрел на улицу, словно мышь, которая глазеет на мир, высунув мордочку из огромной рукавицы. Вдруг он заволновался: что за чудесная погода, прямо благодать, а он, со здоровыми руками-ногами, должен сидеть взаперти и любоваться на мир из окна!..

Миррахимов хотя и был щедушен, но обладал густым и могучим басом, – не умел говорить тихо. Прибывшая сестра стала участливо расспрашивать его о здоровье, о настроении. Она стала увещевать его, мол, только терпение поможет больному излечиться от недуга, намекнув при этом на Мاستуру Алиеву, с которой всем больным стоит брать пример терпения и выдержки.

Оказалось, что Мастура Алиева, доставленная в больницу в тяжелом состоянии, вот уже восемь месяцев не выходит из палаты; все обитатели больницы уже знают о ней, и многие побывали у нее. Чувство гуманности вдруг обуяло и Миррахимова.

– Давайте навестим эту бедную женщину! Кто знает, сколько ей осталось жить на этом свете... Говорят, она совсем плоха...

– Да, ей-то очень тяжело – сказала сестра и вздохнула. – Легко ли переносить страдания целых десять лет!

Дядюшка Ходжи, лежавший на своей кровати у самого входа в палату и читавший какую-то книгу, вдруг с легкостью, не подобающей его больному и грузному телу, приподнялся и сдернул с глаз очки.

– Неужели десять лет? И десять лет болеет?

– Да, вот уже десять лет. Не прошло, говорят, и года после замужества, как она захворала, бедняжка. Не может есть: пища через горло не проходит. Пищу ей вводят прямо в желудок... Сделали ей там

такое отверстие, понимаете... Иногда сама себя питает, иногда муж.

– Муж! Да неужели у нее есть муж?

– Есть. Здесь он. Пять месяцев от нее не отходит!

Дядюшка Ходжи умолк. Наконец он произнес:

– Мало того, что целых десять лет ходил за больной женой, а теперь вот и в больницу пришел...

– И не говорите... – сказала сестра. – Он упросил врачей, и ему позволили поставить в палате кровать для него.

Дядюшке Ходжи не терпелось посмотреть – и не столько на больную, которая так упорно и терпеливо борется с тяжким недугом, сколько на беззаветно преданного ей мужа. Он встал, решительно запахнул халат, повязался кушаком и сунул ноги в тапочки.

– А ну, пошли! Видно, святые это люди, надо навестить.

Сестра побежала предупредить Мاستуру и ее мужа о предстоящем визите.

Спустя минуту мы уже шли по длинному коридору, ища десятую палату; впереди шествовал, выпятив огромный свисающий живот, дядюшка Ходжи. У входа в палату нас вежливо и почтительно встретил молодой человек с большими, искрящимися глазами, смуглый, как индус. Выразив каждому из нас свою признательность, он пригласил нас в палату. Мы вошли. В эту минуту солнце нырнуло под облака, и в палате потемнело, как в сумерки. С кровати, что стояла слева от громадного окна, вдруг послышался слабый, нет, скорее мягкий голос:

– Добро пожаловать!.. Спасибо, что пришли! Только человек придает силы человеку... большое вам спасибо!.. Акрамджан, пригласите присесть.

Солнце снова выглянуло, и мы увидели Мастуру... Перед нами лежал не человек, нет, не больной человек, а мертвец, настоящий мертвец с пожелтевшей, как пергамент, кожей, – кожа до кости. И только глаза, большие глаза смотрели на нас... Представьте себе человека, сидевшего перед гробом и вдруг увидевшего, что у покойника задергалась нога или рука, – как бы почувствовал себя этот человек? Точно так же чувствовали себя и мы, глядя на ее глаза, сверкавшие на мертвенно-бледном лице.

Молодой человек, приветливо встретивший нас, видимо, муж Мастуры, принес нам стулья. Присели только Миррахимов и я. Дядюшка Ходжи остался стоять, грузным своим телом загородив от нас Мастуру. Я придвинул ему стул и хотел было дернуть его за полу

халата, как вдруг заметил, что у дядюшки Ходжи колышется живот... Я удивился: чему бы ему так смеяться? И взглянул ему в лицо... Он стоял белый как полотно! Заметив, что дядюшку Ходжи обуял страх, сестра забеспокоилась и с тревогой сказала ему:

– Ах, дядюшка Ходжи, я и забыла дать вам лекарства! Идемте, идемте! – И она поспешно увела его из палаты.

Я забеспокоился, как бы дядюшка Ходжи, выйдя в коридор, не потерял сознание, не грохнулся на пол. Но, слава богу, обошлось.

Хотя сестра и увела дядюшку Ходжи под благовидным предлогом, но было уже поздно: Мастура все увидела. Некрасиво получилось, нехорошо. Я и Миррахимов сидели, не зная, что сказать, куда девать глаза. Я все же отважился незаметно взглянуть на больную. А Мастура, улыбаясь бескровными губами, повернулась к мужу.

– Запишите-ка, Акрамджан, в свой дневник: пришли меня навестить трое храбрецов, и один со страху удрал, а двое остались, не в силах бежать.

И она засмеялась, засмеялась сухо, отрывисто, словно ребенок.

От ее шутки, особенно от ее смеха, по спине у меня забегали мурашки, но потом мне вдруг показалось, что с лица Мастуры сошла мертвенная бледность, будто живительная свежесть, переполняющая ее глаза, передалась щекам. Миррахимов что-то забормотал было, извиняясь за дядюшку Ходжи, но Мастура оборвала:

– Не беспокойтесь, такие вещи на меня не действуют, – сказала она. – Акрамджан, расскажите-ка им историю с гробом... нет, я сама им расскажу! Так вот было это лет пять с лишним назад. Как сейчас все помню... Выпал густой снег. Лежу я вот так же, как теперь, напротив окна, Акрамджан сидел и, кажется, штопал себе носки... Вдруг вижу – распахнулась наша калитка и показывается что-то красное! Смотрю, удивляюсь: гроб! Двое друзей Акрамджана тащат к нам во двор гроб! Сердце во мне так и екнуло... Ах, беда какая, думаю, неужели я уже умерла?.. Не успела я прийти в себя и сказать что-то Акрамджану, как те двое прислонили гроб к стене и вошли в комнату. Увидели они меня живую, и хватили их кондрашка, совсем как давеча вашего дядюшку Ходжи. Акрамджан тоже сидит себе и ничего не понимает... В то время мне и в самом деле было очень плохо, того гляди, ноги протяну. И вот увидел кто-то в автобусе плачущего мальчишку, подумал, что это мой братишка плачет, и пошли-поплыли слухи о моей смерти... Ну, а гроб потом сожгли в печке... Вот я и говорю, все эти страхи на меня совсем

не действуют. Они действуют на людей, которые ожидают смерти, да ведь я-то не ждала и ждать не собираюсь! Если уж на то пошло, я не верю даже, что человек может ожидать своей смерти, то есть готов совсем отказаться от своих надежд. Даже совсем больной человек, который вот-вот умрет, у которого и язык уже не повинуется, и смотрит он, как будто прощается со своими близкими... А я и это не считаю признаком смерти: нет, он не прощается, а смотрит на своих близких с надеждой, ожидает, что они скажут ему: рано, рано ты собрался сводить счеты с жизнью... ты не умрешь. Эту вот надежду я и считаю самой сильной, самой важной для человека в жизни...

Акрамджан очень радовался тому, что Мастура оживилась, беседуя с нами, но он тревожился и беспокоился за жену, как бы эта беседа не утомила ее, и всячески старался заставить говорить нас, говорил сам, чтобы дать больной передышку.

– А вы чем больны? – спросил он Миррахимова.

Тот назвал сразу три болезни.

– Ах, боже ты мой!.. – воскликнула Мастура. – В таком маленьком теле? Да как же уместились целых три болезни?

Раздался хохот. Особенно весело и заразительно смеялся сам Миррахимов, Акрамджан, с нетерпением ожидавший окончания разговора о болезнях, тот час подхватил шутку, брошенную Мастурой, и оказалось, что он на редкость остроумный человек; мы на время вовсе забыли о всяких недугах, шутили и смеялись напропалую. И когда наша непринужденная беседа неожиданно оборвалась – из-за могучего баса Миррахимова, – мы были огорчены. Врач, проходя по коридору, видимо, услышал неподобающий месту смех Миррахимова и, приоткрыв дверь, заглянул в палату. Он пристально поглядел на Мастуру и, заметив, что она утомлена, выставил нас за дверь. Акрамджан тоже вышел. Он долго и взволнованно выражал нам свою благодарность, уверяя, что любезность, которую проявили мы, навестив больную, придаст ей много сил и бодрости. Благодарность была во всем его существе, особенно в его больших, чуть увлажненных глазах. Мы не сомневались, что он готов расстаться даже с глазом, если б знал, что это доставит жене хотя бы минутную радость.

Мы вернулись к себе в палату. Дядюшка Ходжи лежал на своей кровати и, отдуваясь, прихлебывал сладкий чай. Никто не заговорил о неприятном случае: ни он, ни мы. Да и сами мы, Миррахимов и я, ни слова не вымолвили до самого вечера: мы были погружены в мысли о



Мастуре и не находили, что сказать, как выразить свои впечатления, свои чувства.

Наступила ночь. Больные улеглись. Дядюшка Ходжи уже спал и похрапывал. Миррахимов то и дело ворочался с боку на бок и, заметив, что я тоже не сплю, приподнял голову:

– У этой женщины не одна душа – тысяча и одна, поверьте! – сказал он. – Душа в ней едва теплится, как огонек угасающей свечи. А если и угаснет, то не раньше, чем зажжет другую из оставшейся тысячи! Вот эта надежда и не подпускает к ней смерть!

После долгого молчания он снова заговорил:

– А муж ее, муж-то? Я вам скажу, что и ему дана тысяча и одна молодая жизнь, но он все отдает своей Мастуре...

Мало ли, много ли прошло дней, но вот мы расстались. Миррахимов уехал к себе домой, а дядюшка Ходжи укатил на курорт.

Спустя много времени судьба снова забросила меня в эти края. Я не мог, проезжая мимо больницы, не заглянуть в нее. Расспросив сестру, я узнал, что через час Мастуру кладут на операцию. Пять месяцев отговаривали ее врачи, уверяя, что с операционного стола она уже не встанет, но ничего не помогло: Мастура решилась, дала расписку, в которой соглашалась на рискованную операцию.

Я хотел зайти в палату и проведать ее; я подумал, что мое посещение и дружеское слово придадут ей хоть немного силы и бодрости, но врачи не допустили меня к ней.

Когда наступило назначенное время, Мастура вышла из палаты, поддерживаемая с двух сторон сестрой и Акрамджаном. Однако, выйдя из палаты, она отстранила их и пошла твердым шагом, сама добралась до операционной, сама открыла дверь и скрылась за нею. Все внимание Акрамджана было сосредоточено на жене, и он не замечал меня. А Мастура хотя и увидела меня, но прошла молча: небось не узнала.

Я не стал дожидаться конца операции; мне было известно, что врачи не очень-то охотно шли на нее; мне было понятно и состояние больной; я подумал, что женщина, бесстрашно смотрящая в глаза смерти, похожа на человека, вдруг оказавшегося в тьме кромешной и запевшего, чтобы заглушить свой страх. Вечером я решил позвонить в больницу, и, честное слово, рука моя отчаянно дрожала. Но, слава богу, операция прошла удачно. Так мне по крайней мере сообщили.

Я уехал и долго ничего не знал о судьбе Мастуры. Я часто вспоминал ее и желал выздоровления и многих лет жизни этой

женщине, у которой оказалось столько сил и терпения, чья душа была прочнее железа. И когда спустя три года, я встретил Акрамджана с какой-то незнакомой женщиной, я готов был горько, по-ребячьи расплакаться.

Нигде праздники не проходит так весело, интересно и красочно, как в Голодной степи, ибо люди, съехавшиеся сюда со всех областей республики, завезли с собою свои песни и танцы. На этом празднике мне довелось побывать в Гулистанском районе, среди своих хороших друзей. Акрамджана с незнакомой мне женщиной я повстречал именно здесь, в Гулистане. У обочины дороги сидела верхом на лошади и что-то ела смуглая женщина среднего роста, стройная, – сама молодость. Акрамджан был занят тем, что затягивал подпругу своего коня. Увидев меня, он что-то тихо сказал женщине. Она ловко спешила, и оба торопливо направились к нам. И женщина, и Акрамджан поздоровались со мной, как со старым другом. Но сколько я ни силился, сколько ни пытался отогнать далекое виденье, мне это не удалось: так и стояла у меня перед глазами та больная, что медленно вышла из палаты и потом исчезла в дверях операционной. И не смог я приветствовать их так же горячо, искренно, как они меня. С Акрамджаном я еще кое-как обнялся, а женщине нехотя протянул руку.

– Вы меня не узнаете? – спросила молодая женщина и, легко нагнувшись, сорвала листок подорожника, росшего на бровке арыка.

– Простите, не могу припомнить... – пробормотал я.

Женщина откусила листок подорожника и, пожеывая, спросила:

– Ну, а теперь? И теперь не хотите узнавать?

Узнал! Узнал ее по глазам! Женщина, чьи глаза щедро дарили радостную улыбку миру, была Мастура!

Я растерялся и спросил, сознавая, что говорю явную глупость:

– Что же вы делаете в этих краях?

Она засмеялась.

– Да вот работаю, теперь у меня силы хоть отбавляй.

Мы беседовали долго. Муж и жена провожали меня довольно далеко, ведя своих лошадей за поводья. Потом мы простились, супруги вскочили на лошадей и ускакали. Я смотрел им вслед, и они казались мне орлами, парящими над раздольной степью. Когда они почти слились с горизонтом, один из всадников вдруг резко повернул обратно и поскакал к нам. То была Мастура. Подъехав на несколько шагов, она крикнула:

– Прошу вас, передайте от меня поклон дядюшке Ходжи! – и ускакала к Акрамджану, ожидавшемуся ее где-то на горизонте.

Вернувшись в город, я стал разыскивать дядюшку Ходжи, чтобы исполнить желание Мастуры. Но, увы, я узнал печальное известие: дядюшка Ходжи, оказывается, умер.

1956

## ДВА САПОГА — ПАРА

Изогнувшись вопросительным знаком, Камалханов застыл в ожидании ответа на свою просьбу. Зазвонил телефон. Салаймонов, заведующий сектором, взял трубку.

— Вас слушают... Да... Что? А? Ха-ха-ха!

Камалханов тоже было захихикал, но спохватился и присел на стул.

- Безусловно, абсолютно верно,— со значительным видом говорил в трубку Салаймонов,— возьмите, к примеру: рыба — вещь отличная, особенно если ее умело поджарить. Но если дыня будет отдавать рыбой — вас затошнит.

Камалханов подумал, что это шутка, и уже решил было рассмеяться, но, вовремя заметив, что Салаймонов смеяться не собирается, нахмурил брови и даже стал покусывать верхнюю губу.

— Когда?— сердито спросил Салаймонов.— Да вы же, милый мой, прекрасно знаете, что я подхалима среди тысячи обнаружу. У меня чутье на них. Это у нас наследственное. Отец, бывало, по мычанию определял, сколько корова дает молока. Серьезно, уверяю вас. Да зачем далеко ходить, вот вам пример. Беру вчера в бане билет, а кассир мне: «Мыла не угодно ли?» Подхалимстро?! У меня это не пройдет, я человека насквозь вижу.

Салаймонов посмотрел на Камалханова, словно хотел сказать: «Ну, теперь-то знаешь, каков я?»

Камалханов с испугу покраснел и поднатужился, чтобы не выдать себя окончательно.

Заведующий сектором положил трубку и с тем же солидным выражением на лице, с каким говорил по телефону, нажал на звонок. Вошла секретарша.

— Скажите, чтобы принесли завтрак,— сказал Салаймонов и повернулся к Камалханову.— Что же мне с вами делать?.. Трудно, очень трудно выполнить вашу просьбу...

Камалханов умильно хихикнул.

— Знаю, товарищ Салаймонов, знаю, дело трудное, потому что позволил себе побеспокоить вас. Что значит — трудно? Для вас?! Вы и палку в землю воткнете — огурец вырастет. Понимаю, вы по

скромности так говорите. Ведь как осла ни прячь, он все равно ревом себя выдаст. Это я к примеру, конечно. Вы извините, я человек прямой, откровенный.

Салаймонов был польщен и, пытаясь скрыть самодовольную улыбку, левой рукой стал подкручивать правый ус.

Принесли завтрак. Салаймонов пододвинул к себе кувшинчик со сливками и, чтобы замаять неловкость, завел разговор о сливках.

— Как вы полагаете, можно по вкусу определить, из какого города сливки? Не сумеете? А я могу... Да... Если вылить в арык все сливки, которые я проглотил за всю свою жизнь, никакая плотина не выдержит. Качество сливок я определяю мо-мен-таль-но! А такие вот, например, даже мне не доводилось есть. Попробуйте-ка!

Салаймонов протянул собеседнику ложку. Камалханов попал в неловкое положение: вот станет он пробовать сливки, а не покажется ли это подхалимством?

Зазвонил телефон. Салаймонов взял трубку. Камалханов смущенно улыбнулся, помазал лепешку сливками и откусил. «Что это? Такие сливки, а почему-то отдают простоквашей? Перекисшей простоквашей!» Камалханов кое-как проглотил кусок лепешки и, всем своим видом изобразив наслаждение, покачал головой.

— Каковы?— спросил Салаймонов, положив трубку.— Пробовали вы что-либо подобное?

— Действительно... Корова, видно, какая-то необыкновенная. В Маргелане очень хорошие сливки, но по сравнению с этими!.. А какой аромат!

Салаймонов отправил в рот полную ложку сливок. Лицо его тотчас скривилось, и он помотал головой,— куда бы выплюнуть.

— Ну и ну-у!— сказал он, вытирая рот.— Это же простокваша!

— Неужели?

Камалханов, словно не поверив, облизал ложку и глубоко вздохнул.

— И впрямь простокваша.

— Простокваша и есть! Тьфу! Кислятина!

— Простокваша,— удрученно кивнул Камалханов, снова облизывая ложку.— Хотя, пожалуй, не простокваша, а прокисшие сливки. Это я первую ложку, видимо, сверху взял. Впрочем, если простокваша хорошая, она сверху всегда как сливки.

В кабинет вошли двое. Камалханов поднялся.

— Можно мне приступить к работе?

— Видите ли, я затрудняюсь... Пообещать и не выполнить, это не по мне.

— А вы все-таки пообещайте, не выйдет - так не выйдет. И Камалханов на цыпочках выскользнул из кабинета. Спустя две недели на производственном совещании Салаймонова основательно критиковали. Камалханов то и дело выкрикивал: «Правильно!»— и с жаром аплодировал.

1936

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Прозрение слепых. *Перевод Г. Хантемировой*  
Мастон. *Перевод Г. Хантемировой*  
Городской сад. *Перевод Т. Калякиной*  
Воры. *Перевод И. Боролиной*  
Больная. *Перевод И. Боролиной*  
Гранат. *Перевод А. Садовского*  
Учитель словесности. *Перевод А. Наумова*  
Джанфиган. *Перевод Т. Калякиной*  
Девушки. *Перевод Т. Калякиной*  
Синий конверт. *Перевод А. Садовского*  
Старый Асроркул. *Перевод И. Киссена*  
Картина. *Перевод А. Садовского*  
Тысяча одна ночь. *Перевод А. Рахим*  
Большевики. *Перевод Г. Хантемировой*  
Клевета. *Перевод Н. Аргуновой*  
Страх. *Перевод А. Рахими*  
Тысяча и одна жизнь. *Перевод А. Рахими*  
Два сапога - пара